

A close-up, high-contrast photograph of an elderly man's face, likely Yuri Davydov. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows, emphasizing the texture of his skin and the intensity of his gaze. His hand is visible on the right side of the frame, resting near his face.

Юрий Давыдов

18+

ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Бестселлер

ПРОЗА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Предметы культа

Юрий Давыдов

Бестселлер

«Издательство АСТ»

1998

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Давыдов Ю. В.

Бестселлер / Ю. В. Давыдов — «Издательство АСТ»,
1998 — (Предметы культа)

ISBN 978-5-17-162002-8

Юрий Давыдов (1924–2002) – мастер исторической прозы, автор романов и повестей “Судьба Усольцева”, “Соломенная сторожка. Две связки писем”, “Вечера в Колмове”, “Глухая пора листопада”. Лауреат премии “Триумф” (1996), кавалер ордена “За заслуги перед Отечеством” IV степени (1999). Роман “Бестселлер” стоит в ряду произведений Давыдова несколько особняком. Критики назвали его странным, увидели в нем прообраз прозы будущего с ее “свободой от жанровой скованности”. В центре романа – Владимир Львович Бурцев, разоблачитель секретных сотрудников Департамента полиции, знаменитый охотник за провокаторами. Его последним делом становится раскрытие “Протоколов сионских мудрецов” – фальшивки, якобы обнаруживающей тайну всемирного еврейского заговора. Роман удостоен Большой премии имени Аполлона Григорьева.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-162002-8

© Давыдов Ю. В., 1998
© Издательство АСТ, 1998

Содержание

Книга первая	6
* * *	6
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Юрий Владимирович Давыдов

Бестселлер

*Дело, кажется, идет к тому, что скоро
романом будет считаться все, что
угодно, но только не сам роман. Впрочем,
может быть, это всегда так и было.*

Томас Манн

Посвящается С. Тароциной

- © Давыдов Ю.В., наследники
- © Рыбаков А.И., художественное оформление
- © ООО «Издательство АСТ»

Книга первая

* * *

В прихожей шубу надевал старик. Я поклонился. Он сказал:

– В соседней лавке – четвертинки.

Не стану вас томить, сейчас все объясню.

Коммунистическая улица стремилась к Дому творчества. Творили в Доме по мандату долга, а кое-кто – по совести.

Приехал я в Голицыно. Автографы меньших собратий янтарно метили сугробы. Торчали палки выше елок. И это значило, что радиоантенны – знак цивилизации, а елки-палки – черте что. Поземка слизывала след. Семен Израилевич Липкин прав: есть мудрость и в уходе без следа. Но прах меня возьми, охота наследить в литературе.

А вот и Дом. Он зажигал огни, как пароход; большая застекленная веранда казалась рубкой. Робяя мэтров, я вошел в прихожую. Там шубу надевал писатель Виктор Фи-к. Четвертинки! Не надо усмехаться, господа. Он дал мне направление, где булькает Кастальский ключ, источник вдохновенья. Отнюдь не западный, а коренной, калужского или рязанского разлива.

Чернила ж были марки “Мосбытхим”. Работать надо, а не плакать, хоть на дворе февраль. А вечером ступай к застолью. Умный монархист Шулгин сметал съестное дочиста, как зек перед отправкой на этап. Потом они с Виктором Фи-ком, иудеем, имели дружелюбные беседы; казалось мне, старик Василь Витальич позабыл свой роковой вопрос: чего нам *вних* не нравится... А рядом опрятные старушки вычисляли, кто спал с поэтом имярек тому лет сорок. Засим, мечтательно зевнув, определяли – таблетки эти до еды иль перед сном?

* * *

Давно уж написал я очерк “Бурный Бурцев”. Никто и ухом не повел. Несправедливо! Врагу спецслужб веревку мылили и монархисты, и коммунисты, и нацисты. Казалось бы, передовое человечество мой очерк примет на ура. Так нет, молчок. Обидно!

Имеет каждый век свою черту, заметил хитроумный француз-энциклопедист. А Пестель слямзил, и все решили, что Пал Иваныч в корень зрит. Приоритеты не моя забота. Но дело здесь серьезное. Наш с вами век, он тоже наделен чертой: Христос – лишь догмат, Иуда – руководство к действию.

Ваш автор приступил к работе, блуждая по кривым дорогам февраля. В положенные сроки ударила капель. И это означало: запрягай коней. И отворяй ворота. А ежели без аллегорий, наготове романские зачины.

Прошу взглянуть.

“Цыплячья грудь и толстый бас у козлоногого Свердлова. Коба на него серчал. Оба ударили за актрисой. Сей треугольник воочию увидел Бурцев”.

“То в кибитке, то пешиком переместился Пушкин с Колымы на Енисей. На крутояре монастырь стоял. Лествица вела на колокольню. Студила студа, был слышен шепот звезд, огромной польньей дымился Млечный путь, и там витал Васёна Мангазейский, рубаха распояской, босоногий. А умертвил Васёну не кто иной, как Пушкин, и Бурцев это знал”.

“В Париже, в отеле Дье, был госпиталь. Там умирал Владимир Львович Бурцев. В антовом огне слились начала и концы: Гвоздь плотницкий с креста Христа и маленький кри-

вой сапожный гвоздик... Похоронили старика близ православной церкви, где был священником отец Илья, мой лагерный товарищ”.

Пора бы, кажется, и в путь. О, эта робость. Но тут все глянет нарочитым. А между тем всего лишь факт биографический. В кануны Первой мировой писатель Фи-к жывал в Париже. Эмигрант и журналист. И он, представьте, был Бурцеву сотрудником в издании газеты. Как было не прочесть отрывки из обрывков?

Смеялся мэтр, мой сосед: “Заладил лад баллад”. Смахнул слезинку и принялся пихать табак в чубук. Зарезал без ножа.

В тот день обосновался в Доме Ю. Олеша. В клозете по утрам не пел, но мне, конечно, не завидовал. Не позавидуешь тому, кто с вилами на рифмы прет, а сам, на грабли наступая, ищет ритмы. Занятие опасное, оно чревато аритмией.

Пример мой – всем наука. На “скорой” увезли в реанимацию.

* * *

Там смерть юрит воровкой.

Меня загородили ширмой, и я лежал в долине Дагестана со свинцом в груди. В день без числа разорвалась завеса. Ни дать, ни взять клеенка или коленкор. Исчезла ширма, явился НЛЮ. Но вовсе не предвестием антихриста. Нет, братцы, текстом. От альфы до омеги; как говорится, целокупно, а главное-то вот: за выслугою лет уволен Хронос; все в настоящем, как эта капельница, и это смертное шурх-шурх, и жаркая долина Дагестана.

Синюшными губами я шептал: “Продли мои земные дни”.

Он внял и повелел: “Ступай”.

В слиянье Бронных, Большой и Малой, два аиста, воздевши клювы, вторили Вертинскому: “Я ма-а-аленькая балерина”. У ресторана приседали лимузины, таков индустриальный книксен. В витрине бутика мадам надменна, будто бы не манекен, а манекенщица. А дальше уж моя парадная при всем параде – лохмотья пакли, дохлая пружина свое бессилье превозмочь не может. На лестничной площадке напрудил Толик-алкоголик. Ура, я дома!

И никаких застолий. Тотчас к столу.

А ты, читатель-друг, а также и читатель-недруг, откупори бутылку пива и перечти, пожалуйста, эпиграф.

* * *

В доме на улице Сен-Жак... Не правда ли, хорошее начало? Оно ласкает слух привычной беллетристической... На улице Сен-Жак в невзрачном доме жил парижанин Анатолий, такой же алкоголик, как наш московский Толик. Но Анатолий, страхась консьержки, угрюмой тетки (в Париже тоже тетки есть), не напрудил на лестничной площадке.

Скажу вам сразу, Владимир Львович Бурцев любил Россию и потому почти всю жизнь прожил в Париже. Гонимый за дешевизною, менял он адреса. Но оставался поэтажный запах лука и жареной селедки. А дух квартирный был керосинно-типографским. О мебели не стану – их историческая родина какой-нибудь блошинный рынок. Три с минусом, не так ли? Оно бы так, но фотографии на белой стене! Никто в Париже не имел такой коллекции: агенты-провокаторы, творцы грядущей революции, по совместительству ее могильщики.

Противодействовал В.Л. В департаменте полиции, в доме на Фонтанке давно он значился как сын штабс-капитана и беглый каторжник. Сказать точнее, сукин сын. И было удивление, скрытно-уважительное: уникал! Оно и верно, кому вподым срабатывать такое без штата и

вне штата? Рассказывать нет нужды, он сам когда-то рассказывал о всех перипетиях. Читайте, тошно станет.

Так вот, портреты. Злодеи в узкобортных тройках, усы ухожены, а трости с инкрустацией и без. Одни напряжены, как в поисках, где справить второпях нужду; другие напряженно раскрывают секрет фотографических процессов.

И вдруг ты цепенеешь. В простенке между окнами портрет размером больше прочих. Ага, Азеф! Губасто-мокрогубый, извините, масляное масло. Низколобый. Подстрижен ежиком. Покатая плечистость. Едва не лопнет от натуги крахмальный воротничок. Всё вместе – биндюжник и его бугай.

Азеф – всемирного масштаба обер-иуда. Вариант фамилии – прошу заметить – Азиев. Его портрет имеет сходство – см. “Портрет” – с ростовщиком, которому наш добрый Гоголь придал черты малоазийские, то есть жидовские. Азеф-Азиев и этот ростовщик имеют общность выраженья глаз. Что в зеркале души? Таинственная страсть к предательству. У, молчаливый ген, который притаился в каждом.

Бурцев, усмехаясь, повторял: “А мне, ей-ей, не страшно”. Его и Леонид Андреев не пугал. Нисколько. Поскольку тот ему писал: “С великим интересом, порою прямо-таки с восторгом, смотрю, как вы идете по этому зловещему маскарадному залу, где все убийцы и мерзавцы наряжены святыми”.

Андреев думал об Иуде. Бурцев – об иудах.

А г-н Неймайер задался вопросом: Иуда был, но был ли он иудой?

* * *

Случится посетить Неаполь, рекомендую отель “Британик”.

Едва выходишь, как убеждаешься: вулкан дымится. Имеется в виду – и умозрительно, и визуально – известнейший Везувий. Мне не забыть, как Франс, который Анатолий, неосторожно воскурил вулкан. В рассказе “Понтий Пилат”. А ведь во времена Пилата, пусть и позднего, Везувий-то еще не раздражили. У Анатоля Франса промашка вышла. Не столь уж крупная, по-моему. И все же следствие – утрата моего доверия. Рассказ-то сочинил он ради одной строки. Дряхлого Понтия, бывшего римского прокуратора, спрашивают о распятом еврее из Назарета, а бывший столп империи... Франс его не портретировал, а потому и сообщаю, что этот Понтий был с челкой из висюлек, похожих на охотничьи сосиски; глаза имел белесые, размером – яйца третьей категории; живая копия тех римских бюрократов, изваяния которых видишь в музейном зале, коли приходишь не затем, чтоб закусить бычком в томате... Пилата, повторяю, спрашивают об Иисусе, каратель же, поморщив лоб, ответил, что он, хоть вы его убейте, такого не припомнит. Причиной не малярия, добро бы так. И не то чтобы Пилат вторично руки умывал, это бы куда ни шло. Автор дает понять, что Распятый всего-навсего еврейский агитатор-пропагандист, а таковых всегда в еврействе много, всех не упомнишь. Вот это он имел в виду, французский Франс. Ан нет, не веришь автору. Какое может быть доверие, коли слезил в детали, про вулкан-то?!

Потом поправку внес: нет, не дымил Везувий, он “смеялся”. И все, нас уверяет Франс, остались им довольны. Поди-ка угадай, где пышку получишь, а где синяк набьешь. Горький щегольнул: “Море смеялось” – досталось на орехи. А между тем, оказавшись на Корсо Витторио, вы увидели бы не только вулкан, но и залив – смеется солнечная рябь. На горизонте – абрис, сизый абрис острова. А там, конечно, Горький. Там и Андреев. Он размышляет об Иуде.

* * *

Какая пудра, голубая эта пыль. И тусклый запах захолустья – горящий с треском хворост, навоз иссохлый да клочок верблюжьей шерсти. Иуда был из Иудеи. (А все другие ученики Христа из Галилеи, и в этом потаенный смысл.)

Родил Иуду некто Симон. То было в Кариоте-городке. Отсюда: Иуда из Кариота, Иуда Искаротский. Как Житомирские или Бердичевские. Да и такие, прошу прощения, Вяземские или Шуйские.

Но Житомир и Бердичев, Шуя и Вязьма хоть и не всегда на карте генеральной обозначены кружком, а все же как-то обозначены. А Кариот... Его, гм-гм, нет в текстах Ветхого Завета, но есть в Евангелии от Иоанна. С меня довольно. Скажите, вы встречали, например, Кандер? Однако Искандер встречается на презентациях в Москве. У нас, на Каменноостровском, в Петербурге, жила Надежда Искандер, дворянка; притом потомственная. Прибавлю: в том же доме, что и свитский генерал Джунковский. По слухам, сей красавец состоял в опасной связи с высокородной дамой, ее убили на Урале, он сгинул на Лубянке, но это здесь как будто б лишнее.

Следите за Иудой. Он домоседом быть не мог, как всякий коммивояжер. Он Палестину видывал от края и до края и пальмовую ветвь задумчиво не вопрошал, где та росла, но все ж поглядывал на придорожные каменные столбы с изображеньем указующей руки. Шли пастухи в плащах верблюжьей шерсти, в сандалиях на натруженных ступнях. Шли не по-нашему: ведущими, а не ведомыми. А позади скотины – сторожевые псы. О, кротость осликов. Невольно вспомнишь въезд в Иерусалимские врата, что рядом с Рыбным рынком, – гравюра называлась “Шествие на осляти”, гравюру в “Ниве” рассматривали умиленно под дачной лампой-молнией, а добрый майский жук жужжал, жужжал... А это окликание отары? Нет, не по-матерному, как в ГУЛАГе женскую бригаду, а каждую овцу по имени, и слышишь хруст и теплое сопение в яслях. Но не забудьте жертвоприношения – в тот час ягнят ведь тоже окликали поименно... Зной дней струился длинно; ночь обжигала скулы холодом. Звезда с звездой не говорила – созвездья молчаливо слушали беседы человеков у костров, простонародные беседы на арамейском. Шакалы шастали окрест шатров. Но вот светает. У водопоя не соблюдает очередность поголовье, влажны следы копыт. На ослике иль на верблюде, случалось, и пешком Иуда продолжает путь. Иуда, повторяю, иудей. А иудей, сказал бы вам любой еврей, куда как падох на барыш. О том, что брал сребреники, знают все. Но он не отвергал и драхмы, и динарии. Что до таланта, то в землю он талант не зарывал. В залог же брал все, что угодно, за исключением жерновов (нельзя ведь бедолагу оставлять без хлеба), не брал и вдовье платье (нельзя несчастную оставить в ужасной нагоде ее). Не будь Искарот Иудой, а также иудеем, мы были б вправе поставить его выше той карги-процентщицы, что в Питере жила, в Кузнечном переулке.

Итак, день ото дня спускался он с гористой Иудеи в Галилею – в живую зыбь полей пшеницы, в веселый вздор ручьев, в недвижно-сизую туманность оливковых садов. Едва сквозь марево проглянет глинобитный городок, как возникают виноградники. Их гроздья тяжелы, как груди у Юдифи, Иуда ощущал истому в чреслах. Однако, что ж скрывать, нет, не Юдифь делила ложе с ним.

Кто же? Мне Голованов указал: “Вероника”. А Голованов кто? Москвич и дед соседа моего. Но про это и про то речь впереди.

Поговорим о сексе. В Стране Чудес он будто бы отсутствовал, в Стране ж Обетованной он присутствовал. Афанасий Фет воспел златоволосую еврейку. Понизив голос, сообщил, что и Христос отлично сознавал, “как увлекательно паденье”. Но это вот “паденье” не лучше ль представлять парнем?

Танцовщицы спасали мир красою сладострастья, изгибом бедер, движением ног, сплетением рук, благоуханьем благовоний, усиленным – простите прозаизм – обильным потом. Он – следствие вполне земных усилий, и это придает мне смелость, продолжив тему, задержать ваш взор... Нет, Магдалину – богословам, а мы замолвим слово за бедняжку Саломию. Она была спутницей Учителю. Увы, в библейском тексте она лишь мельком упомянута. Написан текст мужской рукой. Ночным светильником, дневным светилом озарена крутая власть патриархата. О, феминистки правы: жаль, что ни одна фемина не была мемуаристкой, то бишь в известном смысле евангелистом; тогда б Иисус из Назарета, исторический Иисус предстал нам... Однако умолкаю. Страшусь вчерашних атеистов, которые из коммунистов, такие, знаете ль, ханжи, что вон святых: глядишь, и на костре сожгут.

Иуда может оставаться. Сын Симона отнюдь не свят. Святые не краснеют; Иудушке, как вам известно, случалось покрываться краскою стыда.

Искарриот, представьте, изменял своей законной Веронике. Ох, шеи лошадиной поворот, и плоскостопость, и иссушенность деторождением. И уж, конечно, нервы, нервы, нервы. А вот Юдифь, позвольте доложить, была созревшей штучкой, ерусалимской. Признаться, вислозадой, зато уж груди тугие и тяжелые, как гроздья виноградника за Силоамским прудом.

Прелюбодейке нравился прелюбодей. Иуда ведь еще уродом не был. Уродом вышел много позже – на фреске Джотто ди Бондоне. Да, “Поцелуй Иуды”. А нуте-с, вспомните Азефа. Прежде, до того, как Бурцев-то извлек его из мутного кровавого потока, говаривали: “Какие чистые, какие детские глаза!” А уж потом он стал урод, как на картине Джотто. И потому нам следует признать бесстрашие Нагибина, покойного писателя. Увидел он в Иуде, в форме головы большое сходство с головою пса, но пса добрейшего. Уж не намек ли на собачью преданность хозяину? Засим он указал – не пес, конечно, а художник – на то, что ноги у Иуды были не только хороши, но и опрятны. Уж не намек ли? – мол, и ему, Искарриоту, Мария Магдалина омывала нижние конечности... Я отвергаю богохульство. И предлагаю, как, впрочем, и всегда, самостоятельную версию: наложница Юдифь была и педикюршей. Еще прошу заметить, что обладатель прекрасных ног не знал мозольных мазей. И пахло от него – Нагибин прав – духмянным разнотравьем. Однако знатоку природы не худо было бы дать нам справку – не мятой пахло и не анисом, нет, иссопом, красою Палестины.

Но полно, пора насторожиться: “Чу!” То не рога трубят, а каменные колокольца брякают. Трубят, как воют, однажды в полстолетия, и это называют юбилеем. Искарриот же возвращался в Кариот гораздо чаще.

И вот вопросы: где, на каком ночлеге его пробрал грядущей жизни смысл? Знаменье было иль не было знаменья? Искал ли он Христа иль сам Христос нашел его?

Все это крайне важно. Но и опасно в крайность впасть. Не лучше ли в белесо-голубеющем, в зелено-желтом с черными тенями просторе всласть растянуться под добротворною смоковницей у речки Иордан? Она не шире нашей Язуы, но чище, хоть сейчас испей. А тишина такая, какая только в Забайкалье – огромная, как и небесный купол. Не в дрему клонит, а наклоняет в сновиденья.

Не в счет, простите, тот, где героиней Вера Павловна. Сочинитель не читал, бедняга, Юнга, а сочетался с утопизмом. Каков же результат? Ужасный! Кого-то он перепахал, кого-то переехал. Никто теперь над этим автором слезинки не уронит. Хотя, как многие из нас, он пребывал в двойном плену: миражей и тюрьмы.

Совсем иные сновидения на берегу, в тени кривой смоковницы. Они – виденья яви, и ты встречаешь артель Его учеников. Они и пахари, и рыбаки. Еще вчера их было меньше дюжины, а нынче к ним примкнул Иуда.

Спасителя в изображенье иконописцев и живописцев он никогда не видел. И потому увидел плотника из Назарета: рыжебородого и крепкого; волосы короткие, чтобы в работе не мешали, падая на лоб и на глаза. Движенья точные. Ел вкусно, с аппетитом, а пил не только

воды ключевые. Учеников не ставил в угол на колена. На шуточки соленые мужицкие не отвечал им: “Фи”. (Две тыщи лет спустя таким Его увидел и Чарли Чаплин.)

Примкнувший был принят без восторга. Говорил, как все, по-арамейски, но с акцентом, выдававшим иудея. К тому же не мозолистые руки. И белоручка, и, наверно, грамотей. Держитесь, братья, начеку. Мы, галилеяне, любим труд, а иудей, известно, денежку. Однако назаретский плотник им не внял. Он и доверчив, и юмору не чужд. Он говорит себе: что ты надумал, делай-ка скорее. И, улыбнувшись всем своим ученикам, велит Искарриоту заведовать артельным ящиком-глоссокомоном, мирской казной. Переглянулись мужики, сообразив, кому живется весело, вольготно в Палестине. И проворчали что-то вроде “снова наша не взяла”. А может, что-то и другое, я не расслышал.

Он подал знак, Двенадцать поднимались в дальнюю дорогу.

И вот, гляжу, пошли, палимы зноем и духовной жаждой. Он шел, как ходят в тех краях все пастухи; я говорил вам – впереди отары, стада; за ним – Двенадцать; в числе Двенадцати – Иуда. И Александр Блок об этом знал, однако, как ни странно, промолчал. Вот оттого, наверно, голодный пес сбежал от нашего поэта, теперь он замыкающим трусит и сознает себя при настоящем деле.

Они ушли в народ, меня взяла досада. Пишу, ей-богу, как кочевник, – не проникая в сокровенное. Проникновение даровано другим. И независимо от школ и направлений, за исключением соцреализма. Один из тех, кто наделен умением читать в сердцах, мне очень нужен консультантом, как тот писатель, Виктор Фи-к в Голицыне. Но этот беда как щекотлив, обидчив и бранчлив. Чуток ты не по нраву, тотчас из-за бугра ругается: “Антисемит!” (Случаются евреи, для которых антисемитизм – род допинга. Без юдофобства им и скучно, и грустно, и некому морду набить в минуты душевной невзгоды. Так русским худо в отсутствие урода-русофоба. Как не понять? Приходится искать источники невзгод в самом себе, а не вокруг, не рядом и не далеко.) Так вот, обидчивый, бранчливый не будет назван. Хочу, однако, подчеркнуть: его суждения об Иудиной натуре не повторение задов, а прониканье вглубь; как эхолот – в пучины.

Так что же там, во глубине? Особая черта природы сильной, чуткой, нервной, страстной – желание любви Учителя. Обращенной только на него, Искарриота. Не спешите возражать в том смысле, что это просто-напросто томление институтки перед учителем словесности, который, кудри наклоня, читает нараспев стихи. Нет, тут напряжение высоковольтное. Не надо также и предполагать, что Учитель – зеркало, в которое глядится Нарцисс из Кариота. Нарциссы в общем-то самодостаточны. Не то иуды. Они куда как требовательны. Им подавай-ка доказательства любви едва ль не ежечасно. Как раз вот этим они и причиняют страдания тем, кто любит их. Христос же, уверяют нас, любил Иуду. Искарриотский был красивым юношей и лучшим из учеников.

Красивый? Юноша? Гм! Нагибин ограничился предобрим псом с опрятными ногами. А здесь уж не подобием ли флорентийского Давида? Э, тот, сдается, не обрезан. Какой же он еврей? Но я боюсь перечить. Готов признать Иуду красивым малым. И снять укор в прелюбодействе с ерусалимскою Юдифью, коль скоро это было обычным фактором совместных действий.

И все же я робел свое суждение иметь. Но тут вмешался Гений Местности, а это, извините, отнюдь не местный гений. Вмешался, да. Навеял, нашептал, напел. Не по-арамейски, не на иврите, не на идиш – представьте, на живом великорусском. Там Гений Местности стоуст, и есть уста, что изъясняются на вашем языке.

Там – под смоковницей, среди овалов желтых и зеленеющих увалов, при влажных плесках овечьего источника, в нежданно налетевшем запахе дымов – там я расслышал... нет, не умею в точности назвать. А в изложение выйдет плоско, объяснительной запиской.

Искарriot страдания причинял Христу не только и не столько своею странною любовью. Христос страдал его грядущею изменой, грядущим преступлением. Страдая, сострадал. Что так? Да потому, что был Искарriot лишенцем – Вседержитель лишил Иуду права выбора. Лишил даже моления об избавлении от чаши, когда, как всякий смертный, затосковал бы он предсмертною тоской. Христос жалел Иуду; жальенье – высший род любви, а может быть, ее синоним.

Все это нашептал, навеял Гений Местности. Увы, совместный со злодейством. Оно имело быть в Пасхальную неделю. Пейзаж иной – урбанистический. Вступил Он в город через ворота Золотые. Я это видел, повторяю, в журнале “Нива”, освещенном дачной лампой-молнией; жужжали майские жуки, неподалеку тихонечко струились воды Клязьмы, а чудились кедронские.

Ворота Рыбные минует Он в начале скорбного пути; ворота Древние – неподалеку от Голгофы. Он пронесет свой Крест незримый, а на плечах – весомый, грубый, сдирая кожу в кровь и сглатывая пот, как зек на вывозе лесоповала, поставленный под комель. Он пронесет орудье медленного умерщвления, сработанное для Него собратьями по ремеслу, чтоб не сказать – по классу. А плотницкие гвозди скуют и заострят ерусалимские гефесты. И к одному из тех гвоздей, коржавому и длинному, приложится горячими губами юный Бурцев. Слышу: хватили, сударь; ваш В.Л., быть может, и приложится, да ведь когда? Нет не тогда и не потом – сейчас и присно... Как и Верховное судилище, дворцы и крепость, которые обозначает Гений Местности и этим завершает пейзаж злодейства, прибавив напоследок и казармы оккупантов-римлян.

Понтий Пилат не упомянул имени распятого. Никто не помнит имена Его распявших. А справку не добудешь – архив при Нероне сгорел, гудел пожар на холмах Рима...

Легионеров нет еще на карауле у Креста. Но есть уже легионеры в усиленном режиме. В большие праздники их отряжают на поддержку евреев-стражников. Само собой, на случай беспорядков. В урочные часы – от первой до четвертой стражи силовики вершат союзные обходы и в Верхнем городе, и в Нижнем, и в Предместье, и в Новом граде. Свершат и загородную вылазку – от ворот Темничных в темный Гефсиманский сад.

В саду заплещет пламя факелов, к Христу приблизится Иуда и губы вытянет для поцелуя. И факелы мгновенно вспыхнут, резь в глазах, и тотчас же все вместе и все врозь: и дрожь учеников, готовых разбежаться, и валуны, и лица множества евреев, мечи легионеров, и ветви, и стволы олив.

* * *

Эн. Эн., не князь, но мой племянник, он и ботаник, наведаясь однажды в Гефсиманский сад и дал высокую оценку тамошним маслинам. Образованщина! Точь-в-точь аграрий Игрек – один вопрос он задавал всем возвратившимся из вояжа в чужие страны: картофель там почему?.. В досаде на ограниченность племянника я спросил, а какова же там осина. Племянник пресерьезно отвечал: осины в Палестине не растут, как не растут в Сибири пальмы. И прибавил: Иуда удавился на саксауловом сучке; он, хотя и хрупкий, но и крепкий.

Вот и толкуй! А между тем своим вопросом я сел на кол. У нас и вправду саксаулы не растут, и потому Иуда самоказнил на осине. Но отношение к ней противуречий полно. Суровый славянин, не проливая слез, вам скажет: “Дрожит осина в память Божьего Сына”. Другой насупится: “У, дерево Иуды, будь ты проклято”. И, колупнув, укажет красноватость: “Гляди-ка, это кровь Христа”. Мужик в сердцах воскликнет: “Эх, на осину бы его!” А барин, осерчав на поглупевшую борзую, велит псарям: “Повесить на осине!”

Однако практика и практицизм идут наперекор. Корой осины, бывало, бабушка лечила зубы, а дед, подсунув под ноги полешко, гнал лому в костях. Осиновые чурки они укладывали в бочку с квашеной капустой, чтобы не перекисала... А то, вишь ты, “поганая”, “нечистая”. Она ж и признак доброгo: дрожит, ну, значит, скот в лугах наелся досыта; в сережках, ну, значит,

урожай овса. Из дерева, дрожащего то ль в память Сына, то ль дрожью преступления, умелец мастерил товар, аж пальчики оближешь – ложки, чашки да лукошки. И в тех же вот краях-широтах мы, зеки... Еврей, замученный чекистами, затем приконченный нацистами, Кроль, Петр Кроль, поэт несчастный и безвестный, а значит, и высокой пробы, не хныча,

...валит древесину в груды
Весь день и позже, до зари:
Осину – дерево Иуды,
Его боятся упыри.

Упырь двуногий, начальничек Вятлага, держался мнения такого: осинники рубить себе дороже, “выход” древесины не того-с. Иль что-то в этом роде. С ним соглашался Юра Юдинков, наш бригадир, чернявый и крикливый малый, но не злой... Как мысли-то по звеньшкам все нижутся и нижутся... Послушайте, ведь Юдинковы, Юдины – они ж Иудины! И вот уж слышишь мнение диссидентов, то бишь раскольников, честнейших староверов: “Иуда не повиснул на осине, Иуда поженился на Аксинье”. Ей-ей опешишь: выходит, расплодился на Святой Руси?

Но юдофобы Юдиных не тронут – был и такой Иуда, сын Алфеев, который и не помышлял предать Христа. Иной салтык Юдовичи; двух мнений быть не может – хриstopродавцы. Какой же вывод?

Нужна большая осторожность. Пример – Жиденов, петербуржец. Он, помню, жил в 3-й Рождественской и учредил в своей фатере “Общество изучения иудейского племени”, дабы познать его вредоносные качества и злокачественную религию. Жиденова, конечно, сторонились интеллигентки-чистюли, но черносотенцы с его фамилией мирились. Иль, скажем, генерал, герой, и нате вам, извольте радоваться: Жидов. Но сердобольный Сталин махнул пером, и Жидов обернулся Жадовым. Тотчас долой сомнения кадровиков и подозрения контрразведки, что, впрочем, тавтология.

Короче, вы, юдины, паситесь мирно. Но вот с юдовичей, уж извините, спрос глобальный.

* * *

Один из них отправлен был этапом корабельным. Из палестинской Кесарии в Рим. Каботаж большой. Но не длинней, пожалуй, чем из Находки в Магадан. Конечно, климат ну ни в какое, знаете ль, сравнение... Ха! Бригада Юры Юдинкова расхохоталась, когда нечаянно досталась нам газетка; была в ней слезница гречанок верных: так, мол, и так, великий Сталин, мужья и сыновья все как один боролись за социализм, теперь же изнывают на островах и островках; великий Сталин, друг всех узников, мы просим, помогите... Валившие осину под надзором упырей до слез смеялись над этой слезницей... Да, климат не сравнишь. Но ведь и там, на Средиземном море, случались бури. Апостол Павел, неутомимый путешественник, бывал уж в переделках. Авось Господь спасет и в этом, четвертом путешествии.

Власть предержавшая равняла его проповеди с подстрекательствами к мятежу. Ни дать ни взять статья 58-я. Такая же, как и у нас, безбожников, под сению осин. Апостола намеревался судить Синедрион. Тот суд, что передал Христа на суд Пилата. Однако Павел добился судебного имперского там, в Риме, где кесарю – все кесарево... А я, прошу мне параллель простить, я, отпетый Особым совещанием, воззвал из-под осин – меня судили, мол, заглазно, пусть я предстану пред судом хотя бы и мундирным, военным, но очным.

И Павла, и меня отправили этапом. И он, и я вчинили б явку добровольно. Э нет, шалишь, изволь-ка под конвоем. Апостол на то он и апостол, чтобы к нему приставлен был не рядовой, а сотник. Меня же, мелкого врага народа, принял под надзор ефрейтор.

Евангелист Лука, биограф Павла, удостоверил: сотник Юлий был человеколюбцем. Ефрейтор... Гм! На пересылке знакомые из уголовных сумели передать мне пачку чая, а он отнял, чтоб я не чефирил. Вот сволочь!

* * *

Теперь вернусь в отель “Британик”. Ну, тот, в Неаполе который. Я где-то указал и адрес. Никто из вас мне не писал, что иногда не огорчительно.

Страну я чуял, но к вечеру не чуял ног. Усаживался на террасе, неторопливо, не по-русски пил вино, рассеянно следя Бог весть за чем, но надо полагать, за солнцем – оно, совсем-совсем уже нежаркое, садилось где-то там, за Капри.

В тот вечер, как и давеча, я услаждался культурным винопийством, а также наблюдал Залив, Везувий, Корабли. И проникался прощально-ясным, как бабье лето, чувством к жизни, которую уж лучше терпеливо объяснить, чем переделывать, не объясняясь с ней толком.

И вдруг... Точней, не вдруг, а как-то исподволь я ощутил отсутствие Везувия на скате неба. Не враз, однако, и без промедления я осознал, что вот же он, Везувий, а только, черт дери, вулкан-то не дымится, как при Понтии Пилате, пребывающем в отставке, владельце виллы, рукою до Неаполя подать, а именно в Путело, теперь вам скажут *Puzzioli*.

Везувий, повторяю, не дымился, как будто бы французский классик уж внес поправку в свой рассказ. И оттого, наверное, ко мне причаливал какой-то текст. Он зыбким был. Как не понять? Текст не имел еще балласта из свинца подтекста. Приплыл же и причалил корабль “Диоскуры”.

Кораблям не дано примелькаться. Но этот оскорбил бы мариниста. Он не вбежал, как покоритель моря, стопоря машины, не взбурлил винтами. Судно едва тащилось, коренясь на левый борт; опасный крен, как и на правый; а малый парус был изодран вдрызг.

Нельзя, ей-ей, не испытать сочувствия. Но вместе с тем щемило и предчувствие. Забыв вино, прощальный взгляд на жизнь, я в этих “Диоскурах” различил черты невольничьего корабля. Мерещилась мне “Ялта”, а вслед за “Ялтой” – “Умба”. Ревел пароход, надрывался – увозили зеков из порта Ванино да в Магадан, на чудную планету. А “Умба”... Забыл, одна или две трубы, но трюмы не забудешь... Она из города Архангельска – на Соловки: ах, длинной вереницей пойдем за Синей Птицей... Все это наше, родимое и, полагаю, неизбывное. Но “Диоскуры”... Хм, приписана к Александрии; нагружена египетским зерном. И что же? Сотник Юлий со своей командой конвоировал не только Павла. Нет, на борту томились узники, числом немалым – двести семьдесят шесть, как указал Лука, евангелист... Мы знаем, что стало с нашими. А эти, с “Диоскуры”? Кто след их обнаружит; не говоря уж о могилах, они, как и у всех рабов, конечно, братские.

Теперь взгляните пристально на пристань. Когда он Савлом был, то был, по-моему, плюгав и суетен. Совсем иное Павлом. Белобород и статен, величав, спокоен. Пристукнув посохом, апостол улыбнулся, как моряк в минуту возвращения на твердый берег, когда подошвы ног дают сигнал освобождения от качки.

Явление Павла свершилось без конвоя. Сотник Юлий отпускал апостола, как отпускали зеков-анархистов проводить в последний путь апостола анархии Петра. (Да-да, Кропоткина.) Сравненье, впрочем, хромоногое. Бутырское тюремное начальство исполняло распоряженье высшего, и только. А сотник-римлянин, что называется, по зову сердца. И если б зек сокрылся, Юлий не сносил бы головы.

Корабль “Диоскуры” встал под разгрузку. Она продлилась неделю кряду. Произошли престранные события, ничем не связанные ни с навигацией, ни с коммерцией, ни с нарушением этапного порядка.

Франс, французский классик, в своем рассказе о Понтии Пилате все увязал со встречей отставного прокуратора с давно знакомым соплеменником. На деле было все не так.

Подагрик, возлежавший на носилках, после Христа не умывавший руки, беседовал с апостолом-евреем.

Я видел собеседников с гостиничной террасы на фоне виноградников, усталых от уборки урожая. Подагрик Понтий на носилках возлежал, апостол Павел оставался пешим. Да, я видел их, как соглядатай. Но не слышал: мешали горничные две сороки – чернявые головки и крахмальный фартук. Скажу вам шепотом, смазливые. Однако каждый, кто со мной знаком, тотчас же догадается, что суть не в этом.

Апостол, нет сомненья, “достал” (пронял) вельможу. Сужу так по тому, что Понтий Пилат доселе, из года в год, в страстную пятницу, скорбя, слоняется в горах Швейцарии. Чего он далеко убрел от этого Путело, пусть объяснит Сергей Аверинцев.

А я, чтоб нить не потерять, вам сообщаю: на randеву Пилата с Павлом отсутствовал его биограф, евангелист Лука. Имел он поручение апостола. Секретное. Но шлюпку нанимал легально и, нисколько не таясь, плыл к отвесным скалам Капри. Рукой подать, но какова же цель? Ужель на виллу Горького? Лука писатель, кажется, не пролетарский, хотя, конечно, его читал и пролетарий. И все ж визит евангелиста к Алексей Максимычу – ну ни в какие ворота. А как прикажете понять?

* * *

Обложные облака, расположившись на ночлег, гасили солнечные блики, штилющий залив не искрился, слепя глаза. Об этом я не живописи ради, а для того, чтоб указать на нимб Луки, который, то есть нимб, был виден.

Свечение вокруг головы, изображенное иконописцами, есть символ святости. Но что такое “святость”? Свет мыслящей материи; свет долгой напряженной мысли. И это угадали художники-иконописцы. А подтвердили медики-ученые едва ли не вчера. Прибавьте-ка стило евангелистов – тростинку, и вот вам мыслящий тростник, угаданный поэтом.

Соображения сии достоянье не вашего ума. Прошу ссылаться, а не красть. В такой надежде преломляю с вами, как преломляют хлеб, замету о Евангелиях.

Их тексты, как известно, боговдохновенны. Но природа человека с тростинкою в руке не выключена, не упразднена. Отсюда мелочные разночтения; для развлечения охотников за “блохами”. Глобально, замечательно и важно то, что все евангелисты – Матфей и Иоанн, свидетели земной Христовой жизни; Марк и Лука, сотрудники апостолов, как сговорившись, отвергли психологическую прозу.

Господь ее не жаловал. Правдоподобия не боговдохновенны. Они плоды усидчивости, как цыплята у наседки. Поступок, действия – вот правда. Едва приложишь к ней записку-объяснение: причины и мотивы, следствия, и вот уж ты в силках правдоподобия.

Да, Господь не жаловал психологическую прозу, но как Поэт любил он точность прозаическую.

Не спешите ухмыляться. Иначе, как говорили талмудисты, на вас не сделаешь и маленького комментария, а это значит, что вы, пардон, большой дурак. А комментарий даю петитом. Так иногда хитрит наш брат, подозревая, что примечания бывают интересней текста.

* * *

В годину первой мировой войны сэр Алленби, командуя 6-й дивизией, сражался с турками-османами на всяческих плацдармах Ближнего Востока. Однажды приказали генералу взять г. Иерихон, который в Библии неоднократно упомянут. Возник препон: на стратегиче-

ском направлении, в ущелье лепилась деревня Михмас. На подступах к деревне располагался сильный неприятель. По глупому (на наш взгляд) английскому обыкновению, генерал берег живую силу и не решался на лобовой удар.

В минуту трудных размышлений к нему явился офицер. И доложил – должна быть тайная тропа; иудеи, воины Саула, прошли по ней к Михмасу и одолели филистимлян. И офицер на Библию сослался.

Его превосходительство опешили. Не будь они на королевской службе и в столь высоком чине, уместен был бы и другой глагол, весьма соленый. Впервые от сотворенья мира Библия была и руководством к военным действиям. И что же? Тропу нашли и силами всего лишь роты взяли Михмас; открылся путь на г. Иерихон.

Конечно, мы не предлагаем Библию путеводителем в войне с арабами. Задача примечания – указать на поразительную точность текста.

Сие ценил св. Лука. В 60-х нашей эры, сопровождая Павла, писал он и дорожные заметки, и Евангелие. Каков шестидесятник! В отличие от прочих, он не кончается, он с нами навсегда.

* * *

Итак, св. Лука отправился к отвесным скалам Капри. Охота к перемене мест здесь диктовалась жадной точности. Ведь был апокриф (он и к нам забрел – на Соловки) – апокриф, который утверждал, что Кариот, посланный в мир Иуду, отнюдь не захолустный иудейский городок, а остров Крит. Но то было неверно. Св. Лука предположил: не Крит, а Кипр. Опять ошибка. Так, может, Капри? И вот он курс держал в Марина гранде или в Марина пикколе – в Большую бухту или в Малую.

Лег штиль, садилось солнце, небо меркло. Нимб предварял восход луны. Все это четко видел я с террасы гостиницы “Британик”. Да, четко. Такая “оптика” сменяет мглу в глазах у фаворита Бахуса. И оттого случилось то, что и должно было случиться. Увидел я портовые плавсредства, прожектора, юпитеры. И враз смутился духом: снимали фильм.

Кому теперь уж невдомек, что жизнь-то не театр, а кино. Киношники, однако, не показали мне Везувий. А он ведь не дымил. И тем оповещал, что на дворе тысячелетий нет. Я благодарен: вулкан не отказался подтвердить все то, что я посилено декларировал в прихожей моего романа.

Финал здесь не открытый, как нынче повелось. Финал закрытый, как было встарь. Картину о путешествии св. Павла прекратили съемкой. Наверное, по недостатке средств. Св. Лука на Капри не попал. И не наведаясь к писателям потолковать об уроженце Кариота.

Нимба нет, но тромб в наличии – отсюда лад баллад. Недолго вам хихикать. Еще минута, и я переменюсь на вилле у вдовы.

* * *

На пристани Марина гранде Андреев взял линейку с осликом.

Кремнистые дороги, петляя и блестя, вытягивали море из разрывов скал. Кипарисы шли, как факельщики бюро похоронных процессий. Всё это – от меня. А Леонид Андреев всего-то-навсего решил, что Капри пахнет Алуштой. В Алушту он не заглядывал, на Капри был впервые. Он сближал неблизкое. Привычка утомительная, однако и не вредная.

Андреев был хорош собою, как только может быть хорош собою декадент. Ему необходимы матовая бледность, холеная борода и долгая волна волос. Прибавим темно-синий рытый бархат свободной блузы.

Ему понравилась вилла вдовы художника. Не интерьерами. Они не имели художественной ценности, хотя в Италии все имеет художественную ценность. Андрееву приглянулась

большая зала. Он назначил ее своим кабинетом. Привлекал и аспидный камин размером с топку парохода. Писатель наш, как Собакевич, любил все циклопическое. И то надо признать, что бархатная блуза как будто бы перетекала в толстый, как фуфайка, и такой же мягкий слой каминной сажи.

А на дворе грузнел от влажности февраль. Водосточные трубы маялись насморком. Ненастье не огорчило Андреева. Сюжет был продуман дома. На Капри он его решит в один присест.

– Хочу писать об Иуде, – сказал он Горькому. В черных глазах зажглись, словно от спички, желтые огоньки. – Читал стихотворенье о нем, очень умное. Чье – забыл.

У Горького был крепкий, крупный, выскобленный подбородок. Как у вахмистра. Горький тер подбородок тылом ладони. Приходило на ум: солдат шилом бреется.

– Знаю, это стихи Рославлева, – сказал Горький. – Не ахти умные, Леня. А примечательно то, что Искарриот нынче претендует на знамение времени. Предал Бога, а Бога-то предать не пустячок. И глупо думать, что он польстился на тридцать сребреников... Ты бы, Леонид, прочел... – Горький твердым пальцем больно тыкал настольные книги. То были: “Иуда и Христос” Векселя; рассказ Тора Гедберга; “Искарриот”, драма в стихах Голованова.

Андреев отстраненно повел плечом.

– Не стану, брат. Запутают, с толку собьют. – Замкнул решительно: – Не надо, не надо. Лучше уж я тебя послушаю...

Горький – читатель неустанный, жадный, памятливым – назвал некоего Раймарса, век восемнадцатый, писал о Христе без пиетета: еврей из Назарета – политик, стремившийся освободить народ свой от римского владычества. Так иль не так, а надо нам признать: догматический Христос – не предмет биографии; биографический – не слишком уж подходит для изложения догматов.

Окающий лектор пропускал сквозь усы тугой табачный дым. Андреев подумал: зубы Алексея скоро пожелтеют. Не желая быть послушником, встрял со своими соображениями о Евангелиях: Матфей говорит, что Иуда повесился, а все другие евангелисты ни гу-гу, да вот никто этого не замечает и на сию тему не разномыслит...

Да, один Матфей, согласился Горький. И ведь он-то и есть самый достоверный свидетель. Очевидец. Назаретянина видел и слушал на расстоянии локтя. В одно время в Капернауме жительствовавший. Не захоlustье, нет. Торговля, легионеры, таможня. Матфей служил мытарем. Зачем, спрашивается, Христу сборщик налогов? А он, видишь ты, чиновника-то и призвал к апостольскому служению... Свидетельство об Иуде важное. В сознании обыденном: иудеи кто? Не христов народ, а иудин. Происхождение Христа долго в забвении пребывало, Лютер напомнил: еврей. Да? Ну, а евангелисты тоже евреи, а вот о покаянии-то, о раскаянии Иуды – воды в рот набрали.

Возвращались молча, каждый в своих мыслях. Андреев колотил тростью по стволам кипарисов. Он не желал подвергаться воздействию чужих мыслей. Тем больше не желал, чем больше не умел их опровергнуть. Ну и пусть, ну и пусть, у него своя идея.

И утвердился в тяжелом кресле черного дерева. И попросил зажечь огромный сажистый камин. Огонь взялся рьяно, гулко. Это было приятно. Неприятной была возня со стальными перьями. Черт дери, они, как обычно, цепляли бумагу и этим, сбивая ритм и скорость записи, унижали автора; округлые полупечатные буквы, толкаясь боками и плечами, выстраивались в слово, как недотепы-новобранцы. Перья он менял безжалостно, но рассказ, и вправду, написал в один присест, который длился три недели.

* * *

Господь, напоминаю, не жаловал психологическую прозу, и потому евангелисты не вдавались в психологию Иуды. Всем нам втемяшились сребреники, тридцать счетом, цена раба. Да

полноте! Казначей, распорядитель всех артельных средств, не замарал бы рук такой ничтожной взяткой. Ее отверг и Леонид Андреев. Предварив эпоху войн и пролетарских революций, он уроженца Кариота вообразил народным мстителем, готовым грянуть всем еврейством на оккупантов-римлян. Сын Симона все пылкие надежды возложил на плотника из Назарета, а на себя взял роль сподвижника. Харизма у Христа была. Ему внимали простолюдины и не только. К нему сбегались из дальних деревень и городков. Он был известен в Иерусалиме. А главное, он доказал свою способность сотворить и чудо. А ожиданье чуда – двигатель восстаний, революций. Что говорить, харизма у Христа была. Но не был он воителем-вождем. Иуда, понимая это, страдал и унывал, потом решился на поступок, которым проклял сам себя до окончания веков.

На Тайной вечере Христос тихонько говорит: что ты задумал, делай скорее. Как это понимать? А так: Христу известны намерения Иуды; Христос от смерти не бежит; душа Его готова, хотелось бы, однако, и укоротить, и укротить предсмертный трепет плоти, ее томленье, то есть эту смерть поправить бесстрашьем перед нею.

Распятый был распят. Народ, однако, не взъярился, чтоб с громом опрокинуть Рим. Что ж было делать Иуде Симоновичу? Надел петлю, повис, стал длинным. Враскачку тень его легла на земли и на воды. Послышались и клекот коршунов, и вой гиен.

* * *

Ах, Леонид Андреев, ему платили девятьсот за лист печатный. Внемлите: золотом. Завидно? Нисколько. Завидуешь тому, что достижимо хоть во сне. Ладно. А как с идеей? Недалеко за ней ходил наш бледнолицый в черной блузе. Недолго белое чело удерживало вертикальную морщину трудных дум. К его услугам оказалась энциклопедия Брокгауза-Ефрона. Он поменял акценты, взял шаг революционный, и рассказ испечен.

Горький, сидя у огромного камина, покашливал в кулак и чуть ли не в рукав курил, как курит часовой, зевающий на скучном карауле. Его брала досада – зачем не настоял, чтоб Леонид прочел московского собрата. Нет, не прочел, бойчился, словно воробей в весенней луже: моя идея... Курил, покашливал, поглаживал собаку с большой кудлатой доброй головой. То был Искарот, изображенный Ю. Нагибиным, но обернувшийся, как в сказке, кобелем.

А мне милее Рада.

* * *

Люблю я эту суку. Она оплачивает сторицей. Стон с подвизгом – выражение ее восторга. Мы обитаем в Переделкине, культурный слой растет, культура убывает. Но не умрет, покамест рядом Рада. Не только что умна, как многие дворняжки, но и претонких чувств.

Однако наблюдалась... Нет, не странность, а пагубность цивилизации. По запаху она не различала, хороший человек иль не ахти. Виной тому разнообразие дезодорантов. Смешалось все, сбивает Раду с толка, кто джентльмен, а кто шпана.

Но с Ярослав Кириллычем – сосед из самых ближних, один забор – с Кириллычем особый случай. Отличный журналист, веселый и живой рассказчик, приятель космонавтов, знаток расчисленных полетов, а вот поди ж ты, не очень Раде по душе. Его завидев, она печально твякнет и отойдет в сторонку, и мы решили наконец, что Рада не прощает ему опытов над Белкой, Стрелкой.

Визитации у нас не приняты. На огонек заглянешь, да и только. Где был, кого видал, что слышно? И непременно архитрагический вопрос на злобу дня: не отдано ли Переделкино нахрапистым богатым бизнесменам?! А нынче он сказал, что посетил Германию и Люксембург. А я, как вам известно, заглянул на Капри. Услышав: “Леонид Андреев”, Голованов, который Ярослав, сказал, что дед его живописал Иуду двумя годами прежде знаменитого Андреева. Ах,

прах меня возьми! Пойди-ка знай, что книгу настольную у Горького сочинил не кто иной, как дед вот этого седого внука в спортивной куртке “Адидас”.

Через пролом в заборе он пошел к себе, вмиг обернулся, принес изделие московской типографии, датированное пятым годом. На твердом переплете: “Искарриот” – все литеры чернее черного и грубо стилизованы под древние, еврейские. И там же, на обложке, аляповато дорисованный портрет Иуды, похожего, как пить дать, на цыгана из ресторана “Яр”.

Внука ждал компьютер, я остался с дедом. Его глаза, как у Кириллыча, лучились. Но мой сосед аккуратист, а дед его не очень. Пиджак застегивал он наискось, жилетку – на одну из пуговиц.

Жил Николай Николаевич в собственном доме. В одном из тех околотков, где старомосковское, самоварное, крыжовенное как уложилось, так и пребывало укладом. Вероятно, это утешало усопших недалекого кладбища, кладбища Данилова монастыря: Языкова, и Гоголя, и подлинных славянофилов. Могилы Голованов навещал. А на извозчике он езживал в Хамовники, к Льву Николаичу. Толстого отлучили от церкви. Николая Николаевича тоже: за изображение Иуды, оскорбляющее религиозные чувства верующих, каковые не имели ни малейшего представления, какое, собственно, это изображение.

Но оскорбление указанного чувства еще печатным не было. Оно приватно совершалось в доме автора. Там пьесу он читал всем действующим лицам. Уже в прихожей был слышен многолюдный говор.

И верно, действующих лиц едва ль не больше, чем у Шекспира. Сошлись Христос из Назарета, чета Искариотов – Иуда с Вероникой; Пилат с супругой, похожей на мадам Ризнич с римским носом; Тимон из Александрии; толпа семитов в лапсердаках и картузах в обнимку с римскими legionерами.

Дом полон, все курят, спорят, Голованов просил спокойствия и тишины. Ему повиновались, ведь он же автор. Стал слышен спор Христа с Иудой.

И с первых слов я понял – Кириллыч прав, отстаивая дедушкин приоритет. Да, раньше, нежели Андреев. И что важнее: глубже.

У Голованова Христос и лысый, и лобастый, как Сократ. На Иуду смотрел он не то чтоб кротко, а как бы с сожалением и даже любопытством. Иуда – огромный, неуклюжий – покамест сдержан. Он ждет и жаждет бунта: сегодня рано, а послезавтра поздно. Христос спокойно возражает: Царства Божиего здесь, на земле, Господь не обещал. И вот тогда Искариота бросает в пот. Он отгоняет Веронику, как показалось мне, усатую и платонически влюбленную в Христа, хрипит: “Ты не учи нас быть рабами, мы уже рабы! Учи нас господами быть!”

Христос, склоняя голову, не повышая голос (впервые отмечаю: баритон), негромко, ровно говорит, что он за все в ответе, что выполнит, не уклоняясь, волю Всевышнего Отца. И тут Иуда, потрясая кулаками, вздохнул кричит Всевышнему:

– Ты – трус! Обрек Ты крестной муке Сына, а сам сокрылся за моей спиной, в тылу евреев. Трус! – Он голову закинул, под черной бородой белела шея.

Казалось, автор услышал этот вопль впервые. И побледнел, и даже, мне сдается, испугался. Никто не молвил слова; слов не было: они сорвались вихрем и унеслись спиралью в трубу с открытой вьюшкой.

За полночь затихло все. Осталась ночь.

Как часто оторопь берет – не эта ль ночь твоя, не разминется ли она с рассветом? Чертовская тут путаница. Сказано: прокляты и убиты. Но это ж только раз. А есть такие, что прокляты-убиты дважды: и на войне, и в лагерях. И вдруг себя жалеешь какой-то, не поймешь, сухою жалостью. Глаза-то не на мокром месте: их вытирали не платком, а рукавом или полою, разившей вошебойкой. Ну, ну, довольно, погляди в окно. Ни звезд, ни облаков, лишь тьма. На крыльце соседа льет лампочка свой жидкий свет, как чай спитой. Захотелось порассуждать о траве забвенья. “Искарриота” Голованова ни мощной мыслью, ни острой ситуацией с тще-

душнейшим андреевским, простите, не сравнишь. А кто, скажите, помнит Голованова, кроме Голованова, который внук? Исполненный печали, я фортку распахнул и крикнул: “Кириллыч, слышь?!”

Как медные копейки, из крана в кухне падала вода. Легонько, словно свечи, потрескивали половицы. Маятник был желто-круглым, как желток, как слово “Ялта”, – так с детства, а отчего, не понимаю.

Дворняжке Раде сны не снились. Она ни вздохами и ни урчанием не обнаруживала процесс пищеварения. Однако пребывала в необычном состоянии. Такое, я слышал, овладевает всем зверьем в канун землетрясения или затмения. Она не находила себе места, не слышала и мой приказ: “На место!” Ее прихватывала нервная зевота, торчком торчали уши. В глаза мои она заглядывала пристально, в колена утыкалась. И почему-то держалась подальше от дверей.

Приблизилась развязка. И это чувствовала, а может, сознавала умнейшая из всех дворняжек. Сравните с псом на Капри, на вилле Крупа. Рассказ Андреева имел развязку со стажем в два тысячелетия, и пес не нервничал. А эта ночь взломала ход вещей. Иуда в представленьи Голованова Н.Н. с Иисусом спорил, но зла-то не держал. Не гибели Иисуса желал Искарриот. Был у него расчет, как у Нечаева: довольно краткого ареста, и имярек дозрел до радикала. Но рухнул замысел, Иисус погиб. Искарриота бросит в петлю не кара свыше, не покаяние, а унижение собственной промашкой. Он не растерян, он властвует собою. И так же, как давеча он Бога назвал трусом, так здесь, сейчас он гневно обращается к Распятому: о-о, знаю, знаю, Ты готов меня простить; прощать – да это ж ремесло Твое, понаторел Ты в нем, да мне-то что? Твое прощенье я не приму, побереги-ка для другого. Нет, своею смертью я свое достоинство спасу, оно мне дорого; прощать нет нужды...

В вершинах сосен рассвет размыл потемки. А ниже тех вершин они были в изломах, трещинах ветвей: резцом работал гравер. У нас, здесь, были сосны; у них, там, были липы.

* * *

Ему под липами был выдан паспорт – липовый. Российское посольство помещалось на Унтер ден Линден. Церемонию свершил чиновник секретной службы. Пришел в посольство г-н Азеф, а вышел из посольства г-н Неймайер.

Азеф, шеф Боевой организации эсеров и ведущий агент-провокатор тайной полиции, ославленный Бурцевым по обе стороны океана заместником Иуды Искарриота, Евно Фишелевич Азеф получил полную отставку и от революции, и от контрреволюции.

Вследствие двойного преступления – перед легитимной властью и властью подпольной – Азефу впору было бы повеситься вниз головой или застрелиться из двух пистолетов навскидку как в правый висок, так и в левый. Но поступил он на манер раскольничьего Искарриота: “Иуда не повесился на осине, а женился на Аксинье”.

Аксиния звалась Амалией. Они познакомились в Петербурге. Амалия пела в кафешантане. У нее был низкий голос и прочная, тяжеловатая статья; она соответствовала мебелиам стиля Бедермайер. Ее желали многие. Говорили, что она была в связи с каким-то великим князем. В Азефе она почувствовала... Да, а Азефе она почувствовала верность. Изобличение Евно Фишелевича было ей неприятно – бедный, бедный, он враз лишился двух служебных и притом важных постов... Она осталась с ним и при нем. Он ценил ее старательность – и на эстраде, и в постели. Теперь она старательно вела дом. Они поселились в уважаемом квартале Вильтерсдорф. Там припахивало чайными розами. Чайными розами припахивал бензин. Другие находили, что бензин пахнет бананами. Евно Фишелевич намеревался приобрести пятиместный “Дукс” образца девятьсот десятого года.

В первом этаже с разрешения “папочки”, или “зайчика” – так она мурлыкала, ласкаясь к Евно Фишелевичу, – Амалия учредила корсетное заведение. Саша Черный шутил: “Я шла по

улице, в бока впился корсет...” Какие они жестокие, эти мужчины, – “впился”! – это же бо-о-льно! Или поэтессе вот: “Я человек, я шла путями заблуждений”. Критик хохотал. Тупица, ему и невдомек, что женщина – человек. В защиту сильного пола могу одно сказать: медики уверяли в гигиенической вредности изделий ее салона – корсеты якобы нарушают деятельность грудной и брюшной полости. Амалия поджимала губы. Всей ста♦тью, втиснутой в корсет с пластинами из гренландского кита, роскошным бюстом она опровергала берлинских гиппократов.

Желание Амалии иметь личный банковский счет не диктовалось осмотрительностью. Она видела, знала, чувствовала, что “папочка”, он же “зайчик”, любит ту, которую в интимные минуты зовет “Муши”, любит ровно и прочно, а это, уж она-то знает, надежнее, нежели постельные канканы. К тому же бедный “папочка” не однажды получает от ворот поворот и ни о каком возвращении в лоно законной супруги не может и заикнуться. Эта гомельская еврейка, нервическая, как и многие ее соплеменницы, ударилась в революцию и, вместо того чтобы растить мальчиков, рожденных от бедного “зайчика”, торчит в редакции какой-то крамольной газетки. А законного своего супруга иначе не называет, как только “кровавым Иудой”, а мальчиков укрывает от него, словно от прокаженного. Но поступая именно так, а не иначе, эта еврейка укрепляет ее, Амалии, семейное счастье. Семья! Вот о чем мечтала она, как мечтают многие милые, но падшие создания. И уж ежели сбывается, беспечные прожигательницы жизни выказывают заботу, преданность, даже и ревность, но ровно настолько, чтобы льстить объекту своей ревности, льстить, а не вызывать досаду.

На берлинское обустройство Евно Фишелевич выложил сто тысяч марок. На мель, однако, не сел. Напротив, смело пустился в разнородные спекуляции.

Мне интересен кокон, из которого вылетает бабочка. Прежде никогда не интересовался возникновением и капитала, и капиталистов. А теперь призадумываюсь иногда. В простеньком словосочетании – “деньги к деньгам идут” чувствуется, черт дери, тайна, загадка. Чего это они, деньги-то, идут да идут. Не держу на уме выкладки политэкономии, которые, замечу попутно, тоже ведь какие-то формулы морали, но я мимо, меня мистика на сей счет занимает. И чего уж скрывать, возникает – вроде бы независимо от меня – и кислотность плебейской зависти, и щелочь презрения неудачника к удачнику, а вместе и удивление: вот он может, а тебе, стало быть, фиговки вашей Дунюшки. Рассуждение отвлеченное, иногда, правда, имеющее, как говорится, конкретный выход.

Что же до Евно Фишелевича Азефа, то здесь случай особый, потому хотя бы, что его деньги имели резкий, устойчивый, непреходящий запах крови и динамита. То есть я имею в виду период его жизни от студенчества в прирейнском политехникуме до “увольнения в отставку” в связи с разоблачениями Бурцева, которого Азеф называл “фанатиком”.

Студентом имел Азеф полсотни в месяц. И столько ж к Рождеству Христову. Христопро-давцу – к Рождеству? А вот вам и пример, что в департаменте в ту пору, что называется, несть еллина, несть иудея, жила бы только родина в госбезопасности. Из сора разносортного стукачества его звезда взошла, когда эсеры создали Б. О. – Боевую Организацию. Запах динамита горек, как миндальный, но он перетекает в запах денег, а деньги у Азефа в двух “ящиках” – казенном и партионном. Он, в сущности, был дважды генералом. Не фронтовым, а тыловым, то есть внутренних дел, как напольных, так и подпольных. В канун изобличенья он черпал из архисекретного бюджета, его жалование равнялось жалованию товарища министра. Источник денежных средств не повергал Евно Фишелевича в меланхолические раздумья. Он радовался деньгам, как это свойственно нам, здоровым, ординарным людям, которым надо есть, пить и что-то покупать. Между прочим, он частенько ел-пил в ресторанах гостиниц-люкс “Адлон” и “Кайзерхоф”; не потому, что принадлежал к замечательному племени гурманов, а потому, что весело мстил еврейским “рационам” своего скудного детства и отрочества.

Однако чем круче росли доходы, тем резче огорчался Евно Фишелевич невозможностью щедрой рукой поддерживать жену и мальчиков в их эмигрантском прозябании; и невозможностью поддерживать старика отца, братьев и сестер. Он был хорошим сыном и хорошим отцом. Но как не опасаться зоркости подполья рахметовской закваски? О, “откуда”? И эти, гм, Азефы живут не по средствам... Что же до внепартийного источника доходов, министерского, департаментского, то – и говорить нечего – Евно Фишелевич не обозначил бы его даже на костре святой инквизиции.

Слышал, был он азартным картежником; любил холод риска и жар удачи в игорных заведениях; домашняя пулька у г-на Неймайера стала беллетристическим сюжетом, опубликованным сравнительно недавно. И верно, играл Евно Фишелевич. Не проигрывал, а именно играл. Цель оправдывала средства. Карточные выигрыши он через третьи руки пересылал и семье, и родителю. Все это, однако, пресеклось изобличением. Жена отказалась от “пособий”; ростовские братья и сестры, все из левых, все при Михайловском и Марксе, публично отказывались от иудушки.

Он почувствовал не то чтобы теоретическую, нет, нравственную, душевную потребность не в оправданиях, нет, в объяснениях. Кому они адресовались? Бывшим ли товарищам? Или родственникам, которых бывшими не назовешь ни при каких обстоятельствах? Всего вернее, двум мальчуганам, при виде которых в Латинском квартале дети из русских эмигрантских семей корчили рожицы: “Иудин помет!” То есть опять же, как и при игре в карты, владели им отнюдь не низменные чувства.

Но желание это, потребность эта некоторое время застыла обустройством прочного берлинского жилья, обмена живых денег на ценные бумаги, словом, заботами приятными во всех отношениях.

Мебель, сервизы, хрусталь, бронза, ковры, все эти шторы и пуфики, наконец, бриллианты, даренные “бедным зайчиком”, он же “папочка”, своей “девочке Муши”, – все это вместило, поглотило и кровь убитого министра Плеве, и разорванного бомбой великого князя Сергея, и умерщвленных высших администраторов империй; динамит множества террорных действий, гибель боевиков, выданных властям, каторгу эсеров-комитетчиков, готовивших восстание в столице, сухой корявый хрип семерых повешенных, которых предал он в кануны своего провала.

Ему всегда требовался кредит по обе стороны баррикад. И он этот кредит имел. Обманувшего доверчивых опустил Данте в девятый круг Ада. Амалия не читала Данте. Но она иногда тревожилась, каково придется “папочке” в загробном мире, и потому, когда Азеф представился, а это произошло в восемнадцатом году, она тайно похоронила его в безымянной могиле, только дощечка с номером “446” – в душе Амалии мерцала робкая надежда, что “бедного зайчика” потеряют из виду.

А здесь, на земле, его вроде бы и вправду потеряли из виду. Сдается, ни бывшие боевые товарищи, ни бывшие департаментские начальники не искали Евно Фишелевича, не жаждали отмщения. И если уж говорить о ком-либо, кто искал его, кто хотел с ним встретиться, то только Бурцев. Он носился с идеей судебного доказательства не персональной виновности Азефа, а виновности правительства, верховной власти в провокациях на государственном уровне.

Впрочем, никто и ничто не мешало Евно Фишелевичу жить и в согласии со своими склонностями, и в свое удовольствие. Жизнь же в свое удовольствие составляли для г-на Неймайера не столько домашние пульки, как решил один литератор... Он же, между прочим, указал на Азефовы кривые зубы – эдакая чуть ли не всегдашняя аналогия с джоттовым Искарриотом. Ответственно заявляю: зубы были прямые, но уже отягощенные несколькими золотыми коронами, оттого и челюсти представлялись тяжелыми, массивными.

Так вот, “жизнь в свое удовольствие”? Картеж не отрицаю. Случалось, и отвратительный – проиграл однажды ни много ни мало, а семьдесят пять тысяч марок. Срыв. Переход черты. И следствием подлое состояние *katzenjammer*. Нет, не карты были “жизнью в свое удовольствие”, а курортные поездки. Шорох гравия, лепет бриза, купания, “Ай, медуза!”; Амалия не умела плавать; раскинув руки, звучно пришепывала завитки плоских волн. Оба в полосатых купальных костюмах. Его крепкие плечи. Жесткий черный бобрик блестел. Хорошо, господа, на Ривьере. Эти плавные белые зонты, прогулочные катера, веранды, запах духов “Клео де Мерод” и окно нараспашку в черную ночь с блуждающей звездой.

Жизнь без неожиданностей (не считая биржевые), без нарочитой путаницы путаных обстоятельств, внезапных встреч, мучительного, непреходящего ожидания катастрофы – ах, черт возьми, дыши всей грудью... А если бы мальчуганы вдруг оказались при нем, Амалия не была бы мачехой. Надо перехватить ее взгляд, обращенный на детей, совершенно незнакомых, чтобы понять, каков у этой женщины запас материнской ласки...

Досужие мысли Евно Фишелевича принимали иное направление, когда он, нарушая медицинский запрет, закуривал толстую турецкую папиросу. Именно толстую, именно турецкую. Изготовленную именно на фабрике Асмоловых, а не братьев Асланди, хотя эти были дешевле асмоловских. Партии турецких папирос, изготовленных в Ростове-на-Дону, старый Фишель регулярно высылал своему сыну то в Петербург, то в Париж и всегда “до востребования”. Теперь высылал в Берлин, г-ну Неймайеру.

Предваряя запретный процесс, Евно Фишелевич надевал халат, домашние туфли, усаживался в кресло; он становился похож на трехбунчужного пашу, которому вот-вот подадут длинную трубку с маленьким чубуком и воду... что-то еще, необходимое для курения кальяна. Запах и дым асмоловской продукции перемещали Евно Фишелевича в Ростов-на-Дону. Постаринному сказать, уносили его мыслью в город детства и отрочества, и он всякий раз выходил из вагона на вокзальный перрон, хотя в детстве и отрочестве никуда не ездил. А вся штука в том, что этот громадный красного кирпича, с башенкой, часами и флагом вокзал отправлялись глядеть семьями. Считалось, что солиднее этого железнодорожного сооружения во всей России не сыщешь, говорили: “Ворота Кавказа” – и он, мальчик Евно, чувствовал горделивую причастность к этим Воротам.

Засим толстая турецкая папироса перемещала Евно Фишелевича на перекресток Большой Садовой и Таганрогского проспекта, к Гранд-отелю г-на Кузнецова. Но его нельзя было даже и сравнивать с г-ном Асмоловым. Не потому только, что Василий Иванович, статный старик, красивый великорусской красотой, владел табачной фабрикой, вот этими, в частности, толстыми турецкими папиросами, и даже не потому только, что он украсил город великолепным театром, Шервуд строил, тот самый, что в первопрестольной – Исторический музей. Нет, гимназист Евно Азеф ставил Асмолова неизмеримо выше Кузнецова, предполагая в последнем богача наследственного, а в первом – творца собственного счастья. В нелегальном кружке социал-демократического толка Евно озадачивал зеленых марксидов: он настаивал на том, что таких, как Василий Иванович, нельзя экспроприировать... Прыщеватый социалист держал на уме предположение – а вдруг фатер разбогатеет, придет мишигине-погромщик да и заорет: “Буржуй! Отдавай-ка все трудящимся!”

Ах, боже мой, фатер, флигель, фигли-мигли... Поднять семерых – троих сыновей, четырех дочерей – это вам не классовая борьба. Старый Фишель, отличный портной, обшивал даже частного пристава. Честь! Старый Фишель, отдавая заказ, кланялся. Однажды и навсегда г-н пристав избавил старого Фишеля от надежды на гонорар; как бы даже задумчиво и вместе безразлично г-н исправник несколько раз ударил старого Фишеля по лицу лайковой перчаткой. Честь! Фатер денно-нощно сживал, подогнув одну ногу, а другую свесив, на широченном портняжном столе, зубы-резцы у фатера крошились. Мировую скорбь он не принимал. Его сентенции философического ветхозаветного свойства завершались ироническим “э!” и косо

приподнятым плечом. Детей своих он любил, хотел, чтобы все они кончили курс гимназии или курс реального... В эти минуты толстая турецкая папироса не то чтобы дымилась, а прямо-таки исторгала сизый, как рассвет в Трапезунде, дым, и я не могу не поддержать боевиков, близко знавших своего шефа, – глаза его были добрыми-добрыми.

И вот что могу удостоверить. Семейство Азефов теснилось в неказистом щелистом флигеле на Кузнецкой (теперь, кажется, Пушкинская?). Потому и вспоминаю, что именно в бывшем гнезде Евно Азефа в тридцатых годах был прописан университетский студент, впоследствии мой лагерный приятель, коего черт догадал высоко оценить бухаринскую “Азбуку коммунизма”. Я об этом к тому, чтобы вы, дети, не ходили в Африку гулять. Правильно я говорю? Ты слышишь меня, Костя? Иль там, у Туруньи, шумит тайга и ничего не слышно?

Ни азбука, сгубившая Костю М., ни грамматика боя, ни язык батарей, ни алгебра революции не брали Азефа за душу. Коммунизм он отрицал дельно: всем хорошо никогда не будет. Между прочим, намеки на то, что Азеф ничего не читал, кроме гимназических учебников и курсов политехникума, – напраслина. Чита-ал. И находился в кругу чтения своих товарищей. Вот только никто его не перепаживал. Ни Чернышевский, ни Михайловский. Последнего он в ту годину перечитывал. Ужели искал нравственное оправдание своим “деяниям”? А черт знает. Говорят, каждого настигает эта потребность. С разной степенью напряжения, подчас вроде бы червячка, но настигает. Такое вот сочинение его привлекало – “Борьба за индивидуальность”. (Как замечательно говорил покойный Юра Коваль: борьба борьбы с борьбой.) Тут, значит, такое: борьба нашего “я” за расширение пределов своего личного существования; выяснение отношения различных форм общежития к судьбам личности... Евно Фишелевич не то чтобы четко понимал теорию относительности; он ее прагматически ощущал. И не в том пресловуто-постулатном смысле: дескать, ежели Бога нет, то все и дозволено. А пересмотром взглядов на дозволенное и недозволенное. Дважды два в будущем не обязательно четыре. Может, и вся таблица умножения – в помойку? Ибо все и вся временно и временное. Каждая теория нравственности изменяет фасон кандалов, надетых на твое “я”; каждая – смесь смелости и трусости, как, собственно, и каждое “я”.

Бурцев загнал в угол? Эсеры за борт выбросили? А он, милостивые государи, наиглавное выиграл, свой Аркольский мост выиграл: борьбу за свою индивидуальность. Они думают, что он казнил Плеве, министра внутренних дел, за то, что покойник был гасильником добра, реакционером, виновником несчастной войны с Японией. Так-то оно так, ан корень иной. Он, Евно Азеф, допустил убийство... нет, казнь... за то, что этот мастер внутренних дел способствовал кишиневскому погрому. Но на счету этого мстителя за евреев числились и евреи, загубленные тем же мстителем: бомбисты, террористы, динамитчики. Все его конспиративные клички – эсеровские и департаментские – сошлись, слились в одну-единственную: Иуда, наместник Иуды. И он, я говорил, испытывал потребность в объяснениях. Последнее требовало напряженной работы мысли непрагматической, не свойственной складу его ума. Задачу свою он формулировал замечательно: “Иуда был, но был ли он иудой?”.

Так и озаглавил короткую рукопись, выполненную на Смес-Премье № 4, отчего она имела лиловый цвет. Принадлежность этой пишущей машины г-ну Азефу удостоверяет пишущий эти строки. Авторство г-на Азефа – некто Ъ, имя которого пока не подлежит оглашению. То был конспект беглых соображений. Не всегда последовательных, но неизменно – в соответствии с методом антропоцентризма. Так же, в сущности, как и у Андреева с Головановым.

Но обращение литераторов к Иуде представлялось Евно Фишелевичу посягательством на его, Азефов, сюжет. Посягательством дилетантов. Зато сам по себе интерес к историческому Иуде придал Азефу неожиданный вес в собственных глазах. Эйнштейн открыл зыбкость прежних фундаментальных представлений. Не зыбнутся ли вместе с ними и мораль, нравственность? Мысль эта прельщала Евно Фишелевича. Кроме того, он ощущал некие глубины, не доступные литераторам хотя бы потому, что они не были евреями. Но тут-то бывший шеф боевиков-соци-

алистов, а ныне удачливый коммерсант, тут-то он и начинал путаться, плутать, недоумевать. К тому же Азефа, ни во что не верившего, почему-то возмущало и оскорбляло, что его древний малый народец считают иудиним племенем, а не христовым.

Возвращаюсь к лиловой рукописи (такие уж ленты были, как и чернила, лиловые), выполненной на пишущей машине Смис-Премье № 4. К машинописи, озаглавленной: “Иуда был, но был ли он иудой?”

Высочу навывередки – уж больно не терпится утешить проникательных людей от всяческих наук. Даю вам нота бене: эта же лиловая рукопись, хотя и писана Евно Фишелевичем, допустившим своекорыстное убийство Плеве, содержит замечательные положения и выводы, представьте, антиеврейские. Ха-ха!

Рукопись, повторяю, конспект беглых соображений, удивляет весьма свободным плаванием Азефа в сфере, совершенно чуждой ему, инженеру-электрику, а равно и двухкорытному агенту-провокатору. Не обошлось, сдается мне, без того же Ъ. (Полагаю, еще несколько лет, и я заменю эту литеру, которой он метил свои печатные работы, настоящей фамилией, отсутствующей даже в масановском словаре псевдонимов.)

Выписываю кардинальное.

* * *

I. Имя “Иуда” толкуют как “Воитель”; “искариот” – как искаженное “sicarius”, то есть “кинжальщик”. Стало быть, Иуда, сын Симона, принадлежал к крайним левым, к зилотам. Среди 12 апостолов был еще один зилот, галилеянин Симон, впоследствии казненный.

II. Иуда не предал Христа, а передал Синедриону. Тут был двойной расчет. Верховные еврейские правители спасут выдающегося сына народа от посягательств чужеземцев-римлян. Пребывание Иисуса в узилище отзовется усилением любви народа ко Христу, а также заставит его отказаться от маниловщины в пользу действий энергических. Таковы были намерения и поступки Иуды в отношении плотника из Назарета.

III. Предательство Иуды – навет. А вместе – вопрос, некогда тактический, превратившийся в вечный двигатель антисемитизма.

Привожу “технические” подробности. Мера пресечения, то есть арест Христа, была решена прежде появления Иуды во дворе первосвященника. Эта мера имела не столько идеологическое обоснование, сколько мстительно-экономическое. Иисус изгнал торгующих из Храма. Место торговли в Храме стоило дорого. Плату за эти места получали приближенные первосвященника. Стало быть, благочестиво-гневный поступок Иисуса Христа имел досадные последствия.

Тайную вечерю Иуда покидает по приказанию Христа. Разумеется, вовсе не для того, чтобы выдать явку. Между прочим, даже конспиратор-молокосос согласится, что явка была выбрана Христом легкомысленно, в связи с приходом какого-то водоноса.

Далее. Нам говорят, что мудрецы Синедриона поручили Иуде навести городских стражников и римских легионеров на Иисуса. Нелепость этого поручения отмечена самим Христом: вы, говорит Он, меня знаете; вы, говорит Он, меня слушали, видели в Ерусалиме. (К тому же, говорю я, зачем, для чего было Синедриону загодя обнаруживать осведомителя или даже штатного секретного сотрудника?) Приходится согласиться с Каутским, хотя он и тезка, и ученик Маркса, а не Христа. Представьте, смеясь пишет Каутский, что берлинская полиция нанимает шпиона, дабы тот указал ей субъекта по имени Бебель.

IV. Следует обратить внимание на обилие индивидуальных черт Иуды Искарота, представленных в текстах Нового Завета. Ни один апостол так не портретирован, как Искарот. Корыстолюбец и скряга. Оспаривает затраты на благовония для омовения Его натруженных ног. Намеки на то, что Искарот крепко на руку нечист. Из партийной казны ссужает не сырых

и нищих, а своих дружков-коммерсантов. И черта, всё определяющая: он не из наших, не галилеянин.

V. Десятилетия спустя после распятия Распятого свершилось общеврейское восстание. Империя разгромила провинцию. Начались гонения. Тору запретили. Что было делать христианским общинам, объединившим евреев? Поставить себя особняком. Размежеваться со вчерашними единоверцами. (Между прочим, каков пассаж! Первые христиане – долгоносые, пархатые, обрезанные!) Отмежевываясь, обелить римлян, обелить Понтия Пилата. Не они распяли нашего Господа. Евреи распяли нашего Господа. И первый злодей из прочих злодеев – некто Иуда, сын Симона, рожденный в Кариоте. Таков путь к государственному, имперскому разделению христианства и малого мятежного народа.

Распространяется христианство, распространяется и антисемитизм, рожденный евреями-выкрестами. Отсюда – дописки и приписки в Евангелиях. Новый Завет содержит антисемитское электричество.

VI. Но тот же источник указывает на Иуду как на исполнителя Божьего замысла. Теология объявляет его поступок не благим, но способствующим благу, то есть спасению людского рода.

Следовательно, Иуда был, но не был он иудой, а был **ВЕЛИКИМ ПРОВОКАТОРОМ**, чему синоним – Локомотив Истории.

* * *

Во Франкфурт-на-Майне доставил Азефа локомотив, номер которого не установлен. Он приехал не ради посещения дома, где родился Гёте. И, уверяю вас, не для занятий в общественной библиотеке, учрежденной Ротшильдом. Поездка не была и коммерческой. Не имела она... Нет, все-таки имела отношение к деятельности департамента полиции, о чем, скажем прямо, г-н Азеф нисколько не помышлял.

Современный читатель волен предположить карательную акцию супротив бывшего агента. Не дождетесь! Да и вообще не следует подозревать тузов спецслужб в отсутствии добрых чувств к потерпевшим крушение коллегам. Нет, судари мои, и лампасы любить умеют. Евно Фишелевич рассчитывал на солидный пенсион. Не меньший, чем положен товарищу министра внутренних дел. И был прав, заслужил. Но годы шли, а пенсион не приходил. Не станем удивляться, любовь лампасов тоже, знаете ли, имеет пределы. Впрочем, как им было не задаваться вопросом: господа, а на чью мельницу больше воды-то вылил наш сотрудник из кастрюли?

Ловко, однако, стило повернулось! Прямехонько по завету классика: словам – тесно, мыслям – просторно. Из слов что вытекает? А то, что наместник Иуды лил воду на мельницу из какой-то кастрюли. Но мыслям-то, мыслям какой простор. Напоминаю: учился Азеф в политехникуме города Карлсруэ; оттуда, из Карлсруэ, он доброхотно связался с Департаментом полиции. Посему и упомянут в некоторых документах Особого отдела “сотрудником из Кастрюли” – то-то, видать, запьянствовал пом. делопроизводителя.

Так вот, о мельнице и воде. Теперь он сам, задаваясь этим вопросом, произвел подсчет. Он готовился к диспуту с кем-либо из эсеров первой гильдии. И никакого искательства, никаких сетований на обстоятельства, на власть случая. Всё гиль! Спокойствие обладателя истиной, мудрецам не снившейся. Даже и сионским, хе-хе. Нет, объективный подсчет – на чью мельницу он, Азеф, больше вылил воды? И докажет – на мулен руж, на красную.

Нужна была реабилитация. Нужно было оправдание. Не ему, Азефу. Не для партии, черт ее возьми. Мария! Бедная Мария!

Пора вас уведомить, что г-н Неймайер получал письма из Швейцарии. Доктор Розенцвейг, директор психиатрической лечебницы в Локарно, регулярно сообщал о здоровье фрей-

лейн М. В ответ аккуратно следовали благодарность и денежный перевод на содержание и лечение фрейлейн М. Недавно эта молодая женщина, заливаясь слезами, открыла лечащему врачу, кто такой г-н Неймайер. Директор Розенцвейг удвоил внимание к пациентке. Фрейлейн М. была теперь объектом его научного сообщения в немецкий журнал – что-то об уме и инстинктах... Название доклада столь многоукладно, что утрачиваешь все инстинкты, кроме самосохранения...

В Ростове их было семеро. Семеро детей старого Фишеля. Младшей была Манечка. Не красавица, нет. Зато глаза яркие; ярко-черные. Сказал бы “загадочные”, да уж столько раз говорил, а потом выяснялось, что нет никакой загадки, а есть дрянь.

Когда газеты, как с цепи сорвавшись, примчали в Ростов известия о Евно, во флигеле с облупившейся вывеской “Портной Азеф” наступило отрешенное существование китайских теней.

Старый Фишель, в отличие от чад своих, не примыкал ни к одной крамольной секте. Дети – другое дело. Он им не перечил, он за них боялся; филеры, говорил старый Фишель, устремляются за вами, как нитка за иголкой. Прежде он молился на царя, после кишиневского погрома перестал. Однако никогда не грубил кесарю. Он понимал, что его старший сын служил и бунтарям, и полиции, и это был редкий гешефт. Гешефт этот, по мнению старого Фишеля, навлекал страшное проклятие на весь род Азефов, и старый Фишель, раскачиваясь на широком портняжном столе, тихо плакал.

Беспокоясь за сыновей-дочерей, па́тер фамилии преувеличивал опасность. Они, конечно, помогали хранить нелегальщину или, озираясь, расклеивали листовки, призывающие бастовать ростовских рабочих. Но к динамиту, к бомбе причастности не было, а значит, не было и серьезной опасности. Теперь же наступило время, ни с какой опасностью не сравнимое. Дети старого Фишеля втянули головы в плечи, отводили глаза от встречного-поперечного, чувствовали едва ли не общее глумливое презрение. Как-то незаметно, ни с кем не прощаясь, семейство исчезло из города, рассеялось, расточилось, будто и не жило на Кузнечной. Могу лишь сообщить, что один из братьев Азефа учился в Петербурге, но и там, во студенчестве, он, без вины виноватый, ощущал этот гнет; уехал из России, если память не изменяет, в Австрию.

Об этих безысходных исходах Азеф знал. Не стану утверждать, будто виновник несчастий всего семейства ночей не спал. Он досадовал, что им невдомек глубинный смысл его поступков. Но бессонница посещала Евно Фишелевича: он думал о младшенькой, о Марусеньке. Доктор Розенцвейг сообщал г-ну Неймайеру, что фрейлейн постоянно находится на каком-то Лисьем мысе, близ Кронштадта, что там среди длинных тонких сосен, в которых путается рассвет, вешают людей, и она, фрейлейн М., виновна в их гибели, и что разобранную виселицу привозят из Петропавловской крепости, собирают тайком, фонари светят, фонари желтые, толстые, похожи на сову, на филина; вешают на рассвете, и Манечку тоже, потому что она виновна в том, что этих людей предала...

И если уж говорить с прямоотой, за которой пропасть или обморок, то Азеф-то и приехал во Франкфурт ради Манечки. Предстояло важное, может быть, для Манечки спасительное рандеву в кафе на старинной *Hirschgraben*. Там пахло рекой, железом, пароходным дымом. Отпустив извозчика, Азеф почувствовал знакомую боль в сердце – трещина там, трещинка. Так случалось почти всегда при мысли о Манечке. Но тут вдруг прихлынул знобящий сумрак, и он совершенно явственно, всей плотью внезапно сделался тем человеком, который, опустив массивные плечи, бежал, словно ныряя, из Парижа, спасаясь от кинжальщиков-зилотов, от своих же боевиков бежал, от бумеранга бежал и, казалось, убежать не мог, как во сне. А между тем ведь накануне поездки Евно Фишелевич получил твердое заверение в личной безопасности. Заверил тот, кого он называл маньяком.

* * *

Так костерил он Бурцева. Мне неохота с этим согласиться. А вот уж г-н Рачковский... О, Петр Иванович преследовал В.Л. маниакально.

Как много украшению человека способствует карьера в тайном сыске. Пример тому Рачковский. Ему бы место на тесной полке “Жизнь замечательных людей”. Я, помню, предлагал. Со мной не соглашались. Которые из либералов, морщились; в их представлении служба в царском сыске неприлична; другое дело ВЧК. Которые из русофилов брезгливо полагали, что Петр Иванович “из евреев”. Которые из русофобов намекали: мол, он из выкрестов. Все вместе ждали от меня искусности а ля Семенов Ю., чего я обещать не смел. Короче, плюрализм возможен; консенсус исключен. Но как бы ни было, Рачковского не обойти и не объехать.

Да, он из главных лиходеев. Но он и примечателен как разновидность иудиной породы; ей нет извода. Рачковский мог бы и Азефа превзойти. А впрочем, пожалуй, превзошел, пойдя иным путем.

Сейчас подумал, как важен Юг в развитии страны. Оттуда и дантоны, и дантисты, и сыщики, и террористы, и стрекулисты, и марксисты. Мигрируя на Север, они, в Москве почти не оседая, бросали якорь на Неве.

Во питерском студенчестве Рачковский Петр слыл радикалом; к тому же рьяным. Различие с Азефом вот: тот доброхотно нанялся, а этот шибко напугался высылки в Сибирь. Какой же русский ее боится?! Она ведь тоже русская земля... А Петр Рачковский: ой, ай, я не хочу-у-у. Хватался за голову, хватал и за грудки: ах боже мой, за что?! Да, он знал студента, который укрывал преступника; велик ли грех?! Грех невелик, да вот крючок востер – ему было предложено: Сибирь иль служба в органах... Он выбрал бы Сибирь, но БАМа не было. Он предпочел... Ну, что тут рассуждать, качая головой? И рьяный радикал, подумав, принял радикальное решение.

Здесь опускаю многое, поскольку слышу: “Смотри!”, – смотрю, на улице Гренель, у врат посольства играет тростью мсье, служивший некогда на русской почте. Не ямщиком, а младшим сортировщиком. Ого, какая сортировка! Он нынче чиновником особых поручений МВД, живет не где-нибудь... То есть живет, конечно, но это называется – имеет крышу в особняке семнадцатого века на улице Гренель. О-о, этот особняк! Доселе обитают там послы с послыцами. А родина гордится роскошью особняка. Особенно добром и красотой, материализованной во дни парижского визита последней императорской четы. Какие там салоны, какие люстры-баккара, посуда, мебели, картины.

В таком особняке приятно, лестно крышу занять, и Петр Иванович Рачковский имел на это нравственное право, коль скоро разрабатывал доктрину о подчинении всех левых иудейскому влиянию.

Сейчас, однако, нам не до евреев. Идет Рачковский на randevу с какой-то там мадам Бюлье.

Э, почему “какая-то”? Да, на Фонтанке, в департаменте об этой Лотте услышали впервые. И не единой справки ни в одном отделе: ни в Справочном, ни в Регистрационном, ни в Особом. Всеведающий департамент неведенья не терпит. Ему, Рачковскому, поручено разведать.

Притормозу, припоминая специфическое объяснение, которое сперва мне показалось идиотским. То было после смерти Сталина, навзрыд оплаканного всем народом, за исключением нашей “пятьдесят восьмой”.

Я обратился за исторической справкой к начальнику архива, что на московской Пироговской. Начальник был родного цвета хаки, погоны с голубым просветом, глаза без всякого просвета. Он принял меня сухо. А, собственно, зачем же улыбаться на посту? Я задал свой вопрос: нельзя ли, мол, установить, такой-то был иль не был осведомителем тогда-то? (Речь

шла о девяностых в девятнадцатом.) Начальник цвета хаки, покуривая, вдумчиво рассматривал меня. Решал, кто ж это заявился в кабинет: переодетый ревизор или придурок, плохонько одетый. Признав последнее, он успокоился и был, по-моему, доволен. Стал объяснять. Сводилось, если кратко, к следующему. Положим, такой-то действительно такой-то. Вы это публикуете в статье или диссертации. Ее прочтут они. (Они ведь все читают.) Теперь давайте рассуждать. Такой-то, который, значит, был такой-то, умер. А сын или внук живут. Он поощрил мой умственный процесс полуулыбкой бледных губ: возможно ли, как думаете, а? Я кивнул согласно. Он продолжал. Тогда они, которые у вас-то прочитали, отыскивают потомков такого-то... Тут он повесил паузу, как гирию в полсотни килограммов. И, словно бы подкравшись к жертве, объявил: они потомка-то пугают и вербуют... То есть как же это, “чем пугают”? Родством с врагом народа. Ведь тот осведомитель, тот ведь не был помощником наших органов, нет, служил в тюрьме народов. Понятно? Вот так-то, дорогой товарищ... И дорогой товарищ, ошалев, ретировался.

По этой же причине позвольте-ка не называть осведомителей Петра Ивановича. Охота ли способствовать французским органам? И никакой охоты досаждать потомкам тех наблюдателей-французов, которые работали на нашего Рачковского. Но одного я все же назову, он опочил бездетным: Анри Бинт, кузен мадам Бюлье. Он смолоду сотрудничал с Петром Ивановичем, засим завел свой сыск, был вхож в советское торгпредство в городе Париже. Не правда ли, хорош парниша?..

Но он сейчас не провожает шефа. И это странно, поскольку шеф идет к Бюлье, кузине Бинта. Прибавлю, что кузен не знал о замыслах кузины. Гм, странно, странно... А Петр-то Иванович уже *na ru des Beaux Arts*. По памяти рисую: высок и несколько сутул; нос острый, волос темен и ус отменный, подвитой посольским куафёром. В руке взлетает трость, в другой – фиалки.

Один парижский лоботряс однажды вспомнил: а знаете ли, господа, мсье Пьер был страстным охотником за маленькими парижанками. Замечу от себя и на ухо: преуспевал. Однако обойдемся без наветов: маленькие парижанки отнюдь не значит – малолетки. Гризетки, цветочницы и белошвейки – всех примечал шалун. С Гонкурами он соглашался: красоту парижанки определить невозможно. И потому, послав воздушный поцелуй, произносил, немножко шепелявя: “О, резвость грации!” Сие он подцепил у Мопассана, да ведь кому охота из уважения к себе ссылаться на другого. Но это все бенгальские огни. Вообще же Петр Иванович был верен огнедышащей мясистенькой метрессе. Живал на ул. Гренель нечасто, все же больше жил укромненько в Сен-Клу.

Мадам Бюлье была объектом, так сказать, служебным, ее досье страдало малокровием. Однако появлялись и черты неординарные.

В ее марсельском детстве обнаружили причуды. И некая странность, которую можно было бы назвать... а, черт знает, как ее можно было бы назвать... она мечтала повторить судьбу креолки Жозефины. Но где б она нашла-то Бонапарта? В надежде славы и добра она возглавила пиратов-мальчуганов. Сильный пол в коротких штанишках подчинялся Лотте. Они опустошали сад аббатства и наводили ужас на припозднившихся прохожих.

История ее замужества темна. Вышла она рано. Ее супругом стал траченный молью скупердяй-богач Бюлье. Он держал немалую виноторговлю. Молодые оставили Марсель. Почему? Бог весть. В Париже они поселились на *Rue des Beaux Arts*. Увы, г-н Бюлье недолго жил в столице. Он канул в медленную Лету, а Лотта продолжила его неготиации. Но рвения не выказывала. Все это отмечено в досье, заведенном рачительным Рачковским.

А вот и Бурцев в этом же досье. О нем скупей скупого. Всего лишь запись: Бюлье и Бурцев действительно знакомы; он оказал ей какую-то услугу; есть письма, из них, увы, нельзя извлечь указаний политического свойства.

Рачковский, впрочем, держал за пазухой иное мнение. Роль личности в истории он представлял не так, как г-н Плеханов.

Петру Иванычу доносят, будто Бурцев наостривает лыжи для вояжа в Россию, чтоб там, на родине, собрать деньги и регулярно издавать газету. Проблематичная поездка как бы совпала с проблематичным намерением мадам Бюлье. Пора! Пора составить собственное мнение об этой штучке из Марселя.

Ее предупредили, она ждала визита.

Мсье Пьер идет, играя тростью и ощущая напряжение ноздрей.

Звонок, дверь отворилась.

И что ж увидел зав. агентурой? Момент ответственный. Романист тотчас бы распустил павлиний хвост. А мне мешают учености плоды. На этот раз сей плод кислит, ну, словно бы дичок. Циркуляр имеет номер 3124, а содержанием имеет приметы иностранцев. И в этом циркуляре: “Французская гражданка Бюлье Шарлотта – приметы неизвестны”.

* * *

Она осталась бы иголкой в Сене, когда бы не Фонтанка.

А началось все на почтамте, что на Почтамтской. Разбором иностранной почты заведовал педант. Прочел он адрес: “Главному начальнику полиции России”. Поди-ка угадай, кто всех главней. Но наш педант был все-таки болван: он вскрыл конверт, прочел и испугался. И с перепугу переслал градоначальнику. А тот погнал курьера к Цепному мосту. А там сидела на цепи и там ее с цепи спускали – тайная полиция. Педанту на Почтамтской сказали ласково: эй, проглоти язык. Письмо имело предложение свойства тонкого. Некая Шарлотта Бюлье могла указать на беглого каторжника Бурцева, проживающего в Париже. Мадам подвиг на этот подвиг патриотизм. Она была наслышана, что президент находит удовольствие в сближении с русским государем. Так два лица прекрасной Франции сошлись на платонической любви к царю.

Но есть еще одно лицо. И возникает тонкая материя.

То был директор департамента Дурново. Он получил пренеприятное известие. Осведомитель, внедренный в штат испанского посольства, сообщал: высокородная жена посла прилежно изменяет... О, нет, не лучезарной родине, а высокородному супругу. Какая невидаль? Оно, конечно, никакой, когда б испанка вместе с тем не изменяла и г-ну Дурново, что пахло, согласитесь, изменой нашей родине.

При эдаком пассаже кому пойдут на ум служебные бумаги? А составители бумаг должны предугадать, как наше слово отзовется. А сами по себе бумаги обязаны смекать, в какой момент им отдаваться руководителям спецслужб.

И все ж откуда было знать мадам Бюлье, что некто Дурново, вставая с кресла, ходил в тот день с левой ноги, в окно глядел на мрачный замок, где порешили Павла Первого, а по стеклу стекала перемесь дождя и снега, да и вообще все было мерзко.

А нам-то с вами надо знать, какую важность придавали Бурцеву едва ли не с молодых ногтей. Он дерзновенно, самовольно сменил иркутское село на град Париж. Бежал и не попался. Одно ему в зачет: не жид. Теперь вот из столицы Франции сюда вот, на Фонтанку, телеграфно доносили: честолюбец Бурцев, желая прославиться своей энергией, готов пуститься в отчаянные предприятия, дабы возродить в России революционные успехи.

Эта готовность, казалось бы, должна была извлечь г-на Дурново из “испанского” негодования и окунуть в заботы госбезопасности.

Огорченье личное отодвигало соображения служебные. На письме-прошении мадам Бюлье означен род отписки: “Принять к сведению”. Но разбег пера продлила опытность почти уж машинальная – продлила в рациональное распоряжение: “Сообщить П.И. Рачковскому”.

Петр Иванович, как вам уже известно, не бездействовал. А нынче он нанес визит конфиденциальный. О чем шла речь? Тсс! Имеем дело с заграничной агентурой... Одно скажу вполне определенно: мсье Пьер стал навещать м-м Бюлье. А в департамент на Фонтанке писал он недражащую рукой: “Я лично с м-м Бюлье сношений не имею”.

Так кто же с ней сношения имел?

Наш Бурцев с Лоттой вдруг отправился в вояж. Придется лезть мне в душу сапогом. Прошу простить, Владимир Львович, но это ж назначение ли-те-ра-ту-ры.

* * *

Не такова она была, когда мышей ловила вот эта кошка.

Холмы текли светлей долины, где виноградники темнели. Предвечерье перетекало в вечер топленным молоком – и золотистое, и смуглое. Долины эти дарили белое вино, пил его Петрарка. Пригубливали Бурцев с Лоттой. Синьор Пирлик зажег настольную свечу и нам с Тарощиной налил по рюмке. По-моему, чертовски маломерную, ну, ладно, токай или пинот, такие легкие, веселые, светлые, как солнечные зайчики.

Дом Петрарки и музей (билет мой номер 39203) прекрасен нишетою мемориально-материального, и потому он просто *Casa del Petrarca*, включенный запросто в ландшафт, как и этот ресторанчик.

Петрарка пел Лауру двадцать лет, ни разу даже в мыслях не задрав ей юбку. Вот какова была литература. Лаура честно прижила детей числом немалым, больше десяти. Петрарка продолжал писать сонеты и письма на классической латыни. Таков был литератор: “Жить и сочинять я перестану сразу”. К нему примкнула кошка, ее скелет – в музее. Она мяукала, мурлыкала, мышей ловила – когда? – полтыщи лет тому! И нечего вам в форточку кричать: какое, милая... Лаура, кошка и вино соединились в неожиданном эффекте. Мадам Бюлье предстала в триединстве: Лаура, кошка и вино. Объяснить? Э, выйдет слишком длинно.

Но в департамент на Фонтанке нетрудно было б сообщить ее приметы. Я сообщаю просто так. Кто же за нее теперь заплатит?.. Ну, рядовая буржаузка. От амазонки из Марселя ничего. Тогда был угол, а теперь овал. Овал лица, овал груди, овал движенья руки над ресторанным столиком, овальны губы в медленной улыбке. А волосы красивые, пушистые, темного блеска. Вчерашний девственник влюблен. Впервые не в народ и не в идею освобождения народа.

Мне не хотелось, чтобы в этой глупой диспозиции его бы заприметил насмешливый синьор Пирлик... Житель Падуи, женатый на милейшей Чинция де Лотта, профессоре славистики, Пирлик меня с Тарощиной привез, как привозил очередных, принадлежавших москвичей, сюда, где жил Петрарка с кошкой полтыщи лет тому назад. Теперь, мучительно скучая, не мог дождаться, когда мы скажем ординарное: “Ах, черт возьми, как мало времени у нас”, – и выжать из авто весь газ, и мчаться в Падую, и там курить, курить, курить... И вот уж мною произнесено – мол, жаль, что мало времени, но тут... тут где-то рядом, на веранде, что ли, возникло – негромко, стройно и проникновенно: “Volga, Volga, Mutter Volga”... О матушке о Волге пели австрийские туристы. Черствый человек, я сантиментов чужд. А тут слезинка. “Volga, Volga, Mutter Volga” – австрийцы пели, однако на лице у Бурцева – растерянность, тревога.

* * *

Бурцева пробрал озноб. Ему почудился капкан. Он пригляделся, капкан был рядом. Ужасная минута... Лауры нет, а есть мадам Бюлье, овал улыбки смят испугом. Она довольно чуткая особа, ах, Лотта, Лотта. Поди-ка догадайся, что на уме... Да, Волга, Волга, Бурцев видел ее дважды: этапное движение в Сибирь и явочное бегство из Сибири. Но Волга – муттер, это

так... Однако Австрия куда как ближе; не сегодня-завтра он с Лоттой будет там; австрийцы в стачке с русскими властями; и Бурцеву капут.

Он должен был придумать повод к изменению маршрута их путешествия, похожего на свадебное. И Бурцев отрёшился от предвечерья в золотисто-смуглом освещении, от этих вот холмов и слитно-черных виноградников, дающих белое вино.

Я ж нахожусь в недоумении. Во-первых, чего уж там нашел он в Лотте? Во-вторых, как этот дядя самых строгих правил польстился на турне за дамский счет? Он в Лотте то нашел, чего искать не смел и не умел, – энергию соития. (Задача Лотты вам ясна – вспомните письмо в Санкт-Петербург “главному начальнику”...) Их путешествие уж длилось месяц, подобно месяцу медовому. В Италии балда и тот признает, что красота спасает мир. Но в Падуе, в Капелле дель Арена, она бессильна – Искарриот целует, как генсек, Христа.

Прельщенье дамскими деньгами осудит лишь благородный вор-карманник, каких уж нет. Скажу вам по секрету, и я бы мог, едва слышав зов подруги. Ах, черт дери, никто не зазывает, а между прочим, зря... Но вот и третье: в Россию рвался, да заблудился-то в Италии. Что ж так-то, друг-товарищ, с революционному ты сбился шага? Ага, молчишь! Однако всем нам должно знать: курорты и загранки сорвали построение социализма.

Происходил нормальный ход вещей. Мой Бурцев ощущал свободу не как осознанную необходимость, нет, как свободу от борьбы идей. Им овладела легкость обыденного поведения. И прелесть беззаботности, когда нет нужды следить за тем, следят ли за тобой. В себе ловил он любованье природой, стариной и новизной, как будто не было и нет страданий огромных масс людей труда, которым он обязан служить борьбой с царем. Ах, Боже мой, позвольте подышать всей грудью!..

Что до амуров, то мадам держала Бурцева в приготовишках любовной страсти. То был, как Пушкин говорил, разврат, но добросовестный, ребяческий. Ан исподволь кралась тревога. В мальчишестве, бывало, тронешь языком контакты плоской электробатарейки: и боязно, и любопытно; ощутишь, как кисло щиплет слабый ток. К тому и вспомнил, что поначалу тревога моего В.Л. была какой-то слаботочной. Он не понимал причину. Да, Лоттин облик иногда двоился отражением в пруду. Однако подозренья не будили никаких прозрений. Он к прошлому ее не ревновал, а к настоящему и будущему был доверчив.

А Лотта? Тонкость восприятий, казалось, ей не свойственна. Поди-ка догадайся, что фантазерка-девочка, супруга коммерсанта-сухаря, способна уловить и “слаботочную” тревогу Бурцева.

Он был конспиратором из очень осторожных. Но не догадывался о замысле Рачковского-Бюлье, пока не выдался момент неизъяснимый: слетел к нам теплый вечер на тихие поля – там рестораник, белое вино, свеча.

* * *

У, как они заторопились. Телеграммы из Петербурга в Париж и обратно следовали в течение пяти часов. Сообщаю не для истории почты и телеграфа; с ними все ясно – захватили в первую очередь, и дело в шляпе, всерьез и надолго. Нет, желаю указать... Нынче все и всюду роняют на ходу: “в принципе”, “в принципе”. Слышу, в кафе одна официантка – другой: “Я в принципе кофе пила, завтракать буду потом”... Так вот, желаю указать, что в принципе за день можно было двум столицам обменяться депешами, даже и шифрованными. Но директор департамента полиции г-н Дурново и зав. заграничной агентурой г-н Рачковский нуждались в некоторых перерывах, дабы обсудить возникающие ситуации в связи с комбинацией, в которой участвовали Лотта и В.Л.

Располагая эти телеграммы в хронологическом порядке, обязан с благодарностью назвать дешифровщика – коллежского асессора Иллиодора Играневича Зыбина.

Итак:

Из Парижа – в Петербург.

Бюлье выразила желание содействовать аресту Бурцева. Посылаю добытые агентурным путем 10 экз. его фотографии. Подписал: Рачковский.

На телеграмме резолюция красными чернилами, всегда радующими тех, для кого любимый цвет – красный:

Благоволите разослать по всем пограничным пунктам.

Из Петербурга – в Париж.

Я не особенно верю в ее обещания. Подписал: Дурново.

Вероятно, г-н Дурново все еще не оправился от травмы, нанесенной ему изменой супруги испанского посла. Отсюда недоверие к прекрасному полу. (Версия.)

Из Парижа – в Петербург.

На днях Бюлье выезжает с Бурцевым в Италию. Путешествие продлится около месяца. Благоволите прислать четыре тысячи франков по телеграфу. Подписал: Рачковский.

Резолюция теми же чернилами:

Просить Рачковского командировать за ним филера. Деньги выслать. Предупредить Вену.

Только теперь сообразил: в ресторанчике рядом с *Casa del Petrarca* находился, кроме нас, эдакий губастенький, очень похожий на комсомольского издателя, каковой, помнится, на Лубянку шастал; ныне, завидев маковку церковную, крестится. Так вот, этот самый губастенький и был, очевидно, филером, следующим за Бюлье и Бурцевым. Операция, выходит, проводилась грамотно. Но...

Из Парижа – в Петербург.

Личная осторожность Бурцева восторжествовала над самоуверенными расчетами его мнимой подруги, если не допустить, что с ее стороны не произошло какой-либо оплошности, которая возбудила специальные подозрения этого опытного проходимца. Бюлье крайне огорчена. Намерена предложить новую комбинацию по возвращению Бурцева, который задерживается в Цюрихе сообразно своим планам, содержание которых Бюлье неизвестно. Подписал: Рачковский.

Из Парижа – в Петербург.

Бурцев вернулся. Бюлье уверяет, что находится с ним в прежних сношениях. Предложила поездку в Марсель как город ее детства. Бурцев согласился. Для Марселя готова новая комбинация. Благоволите телеграфом три тысячи франков. Подписал: Рачковский.

Из Петербурга – в Париж.

Против новой комбинации не возражаю, хотя исполнение ее может иметь неожиданные и неприятные последствия. Следует избегать всякой возможности огласки в печати. Полагаю нужным уведомить вас, что условия, предложенные вами Бюлье, вполне достаточные. Не следует выдавать лишнюю тысячу франков. Препровождаю прошения Бюлье, желающей представиться государю-императору, дабы сообщить сведения, лично его касающиеся. Объявите просительнице, что все это она должна передать вам. Не могу

скрыть, что меня посещает мысль, не играют ли Бурцев и Бюлье комедию с какой-либо целью. Подписал: Дурново.

Ах, г-н Дурново, негоже так долго гневаться на бедных женщин. Но если честно, то и я, весьма к ним расположенный, нахожусь в недоумении: уж не игра ли, не комедия? А вместе не исключая драму. Из очень редких. А то и вовсе единственную в своем роде.

* * *

Сдается, Бурцев позабыл свой знобкий страх: задержат в Австрии и выдадут России. И эта выдача – он заподозрил – произойдет по наущенью мадам Бюлье. И вот он согласился на марсельскую прогулку? Конечно – это Франция, республика, не Австрия. Но все же – опять он при мадам Бюлье. Впору толковать о странностях любви. Покорны ей и опытные проходимцы? А может, Дурново не так уж и не прав?..

Я путаюсь в догадках, не знаю, что вам и сказать, однако сознаю, что авторы романов так не поступают...

Марсель В.Л. понравился. Особенно марсельский порт. Бродила, как в чану бродильном, всемирность запахов, разнообразие фуражек и кокард, наречий смесь и лиц, одежд и, уж конечно, состояний. Да, все это нравилось В.Л. Но вот уж точно: ходит птичка весело по тропинке бедствий, не предвидя для себя никаких последствий. А между тем в одном из закоулков гавани ничем не примечательная яхта со звучным именем “Дантес” уж изготовилась к бо-ольшому каботажу. Еще тщательнее на яхте изготовились к приему таинственного господина. Он пожаловал, сопровождая мадам Бюлье. Шкипер знал Лотту: мальчишкой он был в ее пиратской шайке. Ничего пиратского в шкипере не наблюдалось. Он казался добрым малым. Он улыбался во весь рот. И пригласил перед тем, как сняться с якоря, пропустить по рюмочке.

Уверен, никто не в силах отказаться от предложений марсельских шкиперов, и, пропустив по рюмочке, В.Л. и Лотта спустились вниз, в каюту.

Не минуло и часа, как она, смеясь, щебеча, шась из каюты, как на помеле. Дверной замок на миг язык свой показал, да и прищелкнул с тем щегольским звучаньем, какое свойственно на кораблях многим предметам.

И что же? А то, что автор снова в положении олуха царя небесного, а настоящий беллетрист в него попасть не может. Плечо, перо ужасно раззудились, но поперек бревном – гипотеза от г-на Дурново. Признав, что Лотта и В.Л. вели игру, смешно живописать его смятение заперти в каюте, словно в КПЗ. И остается лишь распорядиться упрямыми вещами – фактами. Они имели быть.

Пусть яхта развела пары, да с якоря не снялась. Владелец судна, а также бравый шкипер поскучнели, ну, будто бы заныли зубы. Скучивость сменилась мрачностью. Профит, обещанный мадам Бюлье в награду за доставку запертого господина в одну из русских гаваней, профит не окупал возмездия за незаконнейшую процедуру – ни содержание под замком, ни выдворение из Франции без санкции. К тому же и загадочность мадам Бюлье, известной с детства своей экстравагантностью. И в самом деле, Лотта переменилась. Она впадала в состояние, ближайшее от покаянности. В воображении стоял он, Вольдемар, худой и бледный, в кандалах.

В душе ее очнулась жалость. Мне кто-то врал, что жалость, сострадание француженкам не свойственны. Вот вам опровержение, Шарлотта устыдилась. И этот стыд вдруг отворил каюту... А я опять смущен: а вдруг ли? И этот стыд послал вдруг телеграмму г. Рачковскому – Бурцев отпущен на волю шкипером яхты, комбинацией заинтересованы журналисты.

Вдруг иль не вдруг, а там, в Петербурге, на Фонтанке, всполошились: мы потеряем Рачковского. И, проклиная гласность, распорядились – расходись по одному. “Комбинация” лоп-

нула, пропали денежки... А может, осели на счету Рачковского? Зав. заграничную агентурой был в этом смысле типической фигурой, то есть от всякой “комбинации” имел навар.

* * *

Сюжет сжимая, переправляю Бурцева в туманный Альбион.

Его там привечали старики. Такие славные, как князь Кропоткин и Феликс Волховской. Последний имел в распоряжении средства для поддержания вольной русской прессы. В.Л. стал издавать малотиражку “Долой царя!”.

Все хорошо? Пожалуй. Не следует, однако, забывать – марсельской неудачей был очень, очень уязвлен зав. заграничной агентурой. Провал снижал кредит. И банковский, и профессиональный. Мадам Бюлье он выгнал, не выплатив пособия. А департамент жаждал мести.

Рачковский пересек Ла-Манш. Был зол, сосредоточен, на юных англичанок не глядел. В шепелявом говоре вдруг стал змеиться шип. Ворон к ворону летел: где бы нам бы пообедать? Рачковские интернациональны. Они стакнулись. И вскоре главный инспектор сыскной полиции прихлопнул Бурцева. Да там, где прежде-то стеснялись: под куполом Британского музея, в библиотеке. Потом уж, на суде, лорд Кольридж, адвокат, воскликнул: “Вот где находился этот революционер! Он штудировал Шекспира и был арестован английским сыщиком!” Лорд, очевидно, полагал, что Шекспир снижает жар радикализма, как таблетка аспирина – температуру. В одном из заседаний, все повторяя “ваша честь”, он объяснял судье, какая цель у подсудимого. И оказалось, что в Европе-то она давно осуществилась, так иль сяк, но установлена в законном преломлении. А именно, прошу вниманья, ваша честь! – свобода сходов, гласность, федеративное устройство, права отдельных областей и местностей... И это было верно. Но также верно было то, что Бурцев даже на дверях своей берлоги повесил объявление: “Долой царя!” Суд счел, что это подстрекательство к террору. Козлу было бы ясно, что государь российский не подданный Великобритании. Судить бы Бурцева во Петербурге. Но выдаче он не подлежал. Тогда высокий суд решил – не выдавая Бурцева, оставить его в Англии, конечно же, не в Гайд-парке, а за решеткой, в каторжной тюрьме.

Вот так возникла фигура А-422: обитающая в корпусе “А”, в четвертом этаже, под номером 22-м. Сплошь желтая: уродливый колпак, рубаха не по росту, хоть парусом поставь, штаны в заплатках, с бахромой. Исподнее карябало кострой и тоже было желтым. Одежду испещряли аспидные стрелки. Они имели разный вектор, но извещали все одно: вот – каторжник. Мордovorоты-вертухаи изъяснялись жестами горилл. Видать, еще не овладели членораздельной речью. Но грамоту в пределах нормы уже освоили. А нормой была инструкция о наказаниях... Спать на голых досках дюймовой толщины, миска овсянки, едва разваренной, в тяжелых комьях; параша, как надежное пристанище раздумий трудных, и Библия – все в тех же черных метках. Рабочий долгий день – вязанье шерстяных чулок – был столь же безглагольным. За день один поймешь природу английской молчаливости, а также организации труда.

Охота выступить в защиту русских тюрем. Они не столь уж выверенный механизм, дробящий и камень. Инструкции, позвольте вас заверить, не всегда есть руководство к действию, бывают догмой, и только. Короче, в наших тюрьмах были возможны послабления.

В английской каторжной с отбоя до побудки не смеешь подниматься с досок. Заказан путь к параше. Лежи, терпи. Измаявшись вязанием чулок, В.Л. ночами маялся бессонницей. Там, высоко, на потолке, обозначался стеклянный четырехугольник. Пока В.Л. производил прибавочную стоимость, люк лил, как из кувшина, несколько галлонов света. Но, воротясь с работы, зек видел сумрак неминуемый и никогда не видел ясность Божьего лица. Прочерчивался иногда лишь тонкий лунный лучик. Казался стебельком соломы, не нужным даже утопающим. Но есть соломинка другая – простая арифметика: а сколько ж суток в назначенном мне сроке, и сколько ж мне связать чулок, и каково число ночей на этих досках, вполне пригодных для

устройства домовины? И сосчитав, попятышься пугливо от итогов. И учреждаешь спотыкливый пересчет. Душе своей ты надоел донельзя; скользнув сквозь люк, она, хоть безымянная и астрономам не известная, включилась в бег расчисленных светил. А ты уж окончательно не ты. Лежишь колодой. Она как будто начинает мыслить, точнее, припоминать, когда претонкий лунный лучик изогнется вдруг в сережку, в сережку старенького серебра, и слышишь ты горячий шепот Сереги Цыганова, сибирского варнака. И тут В.Л. сжимало горло... Не спазм. Ведь спазм внутри. А тут обхват: холодный, жесткий, мокрый и шершавый. Варнак сидел на досках по-турецки. Серега Цыганов с серебряной сережкой в ухе принадлежал к “отчаянным”, которым, как считалось, все нипочем, а между тем они-то знают, что почем. С чего бы он ни начинал, о чем бы он ни говорил с В.Л., не без элегий вспоминая таежные пути-дорожки, а все внушал ему, склоняясь низко и блестя белками, внушал: эх, Львович, брось размазывать ты юшку, всегда есть выход, и я тебе и разъяснил, и показал в остроге-то, в последнем перед городом Иркутском... В.Л. прохватывала дрожь. И мне казалось в этот миг – ей-богу, такая точно дрожь трясла и нас с Пономаренкой.

* * *

Ах, Коля-Коля, Николай, сиди дома, не гуляй.

Он был военным летчиком. Подбили, в плен попал. Бежал, добрался до позиций англичан. Те подкормили, подлечили да и вписали в штат какой-то эскадрильи. О, вражеское небо, получи в подарок Колю! Давай, давай бомбить всех фрицев, не разбирая с высоты, кто очень виноват, а кто не очень. Войне конец, фонтаны фейерверков. У Колечки ну никаких предчувствий. Сказал “прости” английским боевым товарищам – и домой, ребятушки, домой. Забыли мы с тобою, Коля, про абакумовских служак, про эту гниду – “Смерш” – мол, “смерть шпионам”. “Ты почему не застрелился, гад?!” Вам, господа, не надрывал сердечко сей вопрос. А тон и вовсе неизвестен; он фишашкового цвета, как комнаты допросов и заседаний военного суда... Там приняли в расчет и первую награду, и плен, и подвиги у англичан, особенно последнее. И вывели итог: червонец, десять лет. За что? Как не понять – да за измену Родине... Ну, бляди, смершевские бляди, вам с пенсией-то нет задержки, ась? Советы ветеранов в руках-то держите, надеюсь. И новых русских вольны отстреливать иль охранять.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.